



**Дружба
народов**

2/2021



В номере:

Экзистенциальная ретроспекция

В небольшом городе на юге Казахстана двенадцатилетний мальчик проводит ночь с погибшим отцом. Тело приготовили к погребению, завернули в саван, но не успели похоронить до захода солнца. Прощание с отцом происходит на фоне панихиды по стране, от которой не осталось ничего, кроме людей. Роман Алины ГАТИНОЙ «Саван. Второе дыхание» — о том, что можно приспособиться к жизни без электричества, но какой она будет, если источник света погас внутри тебя?

Рассказы Юлии КУЛЕШОВОЙ из Бишкека — тоже о вечном: о детстве, о мучительном взрослении — и о преодолении семейного проклятия: пьянство отца, который, не сумев встроиться в изменившуюся жизнь, никуда не собирается уходить.

В наступающем былом

«В юности я написала книгу «На корабле зимы». / Так и плыву с тех пор мимо сумы, тюрьмы, / мимо людей испуганных, срывающихся на крик, / мимо подростков, коверкающих язык. // Мимо женоподобных мальчиков, бой-баб, героинь... / <...> Мимо собственной жизни, оставшейся на берегу / и отправляющей мне послания — все в мокром снегу», — вспоминает Олеся НИКОЛАЕВА и признается: «Я это подменяю собой. / Словно прорехи заделываю и, впад в забытье, / выдаю потом за своё». Вслед за Ахматовой ту же «подмену» неизбежно совершают все поэты этого номера «ДН»: Сергей ЗОЛОТАРЁВ, Сергей КАЛАШНИКОВ, Иван КУПРЕЯНОВ.

«Крык бінтую маўчаннем лістоў / і жыву / найспавіцейшай з мумій...» Участники студии сравнительного поэтического перевода «ШКЕРЕБЕРТЬ» представляют переводы стихотворений молодой белорусской поэтессы Насты КУДАСОВОЙ.

Поднебесная допандемической эры

В этом номере мы отправляемся в путешествие по китайской «глубинке».

Деревенский быт и устройство сельской школы, народные мастера и промышленники, нефтяные вышки на рисовых полях и заповедники, куда прилетают с Байкала белые журавли, схвачены наблюдательным и дотошным взглядом ученого и педагога Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА.

Еще один наш «гид» — писатель Кирилл КОБРИН провел месяц во Внутреннем Китае, где не говорят на иных языках, кроме мандаринского, где Великая Стена Цензуры отрезает от внешнего мира, айпэд становится бесполезным, и европеец начинает мнить себя древним поэтом...

Кстати о литературе: в разделе «Критика» Александр ЛЮСЫЙ и ЧЖОУ Лу — два профессора-филолога из Москвы и Ханьчжоу станут нашими проводниками на пути к «китайскому тексту» русской культуры от средневековья до нынешних дней.

Другая задача искусства

«Что толкает самого обыкновенного, в сущности, человека вдруг откладывать в сторону рабочий инструмент и петь песнь, как выражались древние?» Писатель Геннадий ПРАШКЕВИЧ и физик Алексей БУРОВ продолжают разговор о «вечных темах» в эссе «О массовом искусстве».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2020.
Подписано в печать 28.01.2021.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 7389. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олеся НИКОЛАЕВА. «На корабле зимы». Стихи	3
Алина ГАТИНА. Саван. Второе дыхание. Роман	8
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Стрекоза и глассада. Стихи	92
Лидия ГРИГОРЬЕВА. Термитник new. Роман в штрихах	96
Юлия КУЛЕШОВА. Два разных рассказа	110
Александр ГАЛЬПЕР. Побег из зимы. Рассказ	129
Иван КУПРЕЯНОВ. Хороший год, хороший год, хороший. Стихи	138
Анна ШИПИЛОВА. Пересортица. Рассказ	142
Женя ДЕКИНА. Баг. Рассказ	147
Сергей КАЛАШНИКОВ. Эхолов. Стихи	153
Алёна ЖУКОВА. Смертные грехи вещей. Притчи эпохи пандемии	155

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Обыденная виртуальность. Размышления белгородских школьников	168
--	-----

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў».	
Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»:	
Дмитрий АРТИС, Евгения Джен БАРАНОВА, Инга КУЗНЕЦОВА,	
Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Анна МАРКИНА, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ	182

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Алексей БУРОВ. О массовом искусстве.	
Два письма на одну тему	190

НАЦИЯ И МИР

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Белые журавли на серой земле.	
Взгляд из России на китайскую деревню	200
Кирилл КОБРИН. Второй китайский дневник. Из будущей книги	
«На пути к изоляции. Дневник предвирусных лет, 2018 — февраль 2020 года» ...	222

КРИТИКА

Александр ЛЮСЫЙ, ЧЖОУ Лу. Сам себе китаист: исследовательское шоу.	
Путь к «китайскому тексту» русской культуры с точки зрения внутреннего	
и внешнего диалога	239
Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась.	
Литературные итоги 2020 года подводят:	
Николай АЛЕКСАНДРОВ, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Константин КОМАРОВ,	
Елена ЛЕПИШЕВА, Алексей САЛОМАТИН	252

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Просто такой постмодернизм	263
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Большой маленький Успенский	267
---	-----

Олеся Николаева

«На корабле зимы»

Диптих

1

Иногда — хоть локоть себе кусай или кол теши,
не дается дело твоей души.
Хоть тут землю рой, хоть огниво три,
все слова-то здесь, да мертвы внутри.

Ничего не трогают, не зовут,
а лежат расслабленно там и тут.
Не дрожит струна, не горит Восток.
Никогда не напишешь ты оду «Бог»!

2

Или это не я, а кто-то — наперекор —
входит как главный: «Пишем! Мотор! Мотор!»
Зажигает светильники, развешивая меж туч.
Есть у него басовый, есть и скрипичный ключ.

И заводит и треплет заспавшиеся слова,
мнет их, как глину, лепит: вот уже голова.
Вот уже целый образ вписан в наши края.
Странно, страшно, чудесно: кажется, это я!

* * *

Странные истории происходят с вещами.
 Некоторые приручаются, словно срастаясь с нами.
 А есть и такие — не любят, не чтят, не чтут
 своего хозяина, бунтуют и даже бьют.
 С полки книга летит на голову, со шкафа — баул,
 лопается в руке стакан, ставит подножку стул...
 Но есть и верные слуги: ботинки приводят меня домой,
 и со мною сливается старенький свитер мой.

Оттого для меня драгоценны бусы мамы моей,
 папины шахматы, друга — мозаика из камней.
 Трогаю эти вещицы с нежностью, так дивясь,
 словно между дарителем и подарком осталась связь.
 Словно папа почувствует, как тоскую о нём,
 когда я чёрную королеву — смерть — бью белым конём.

* * *

Грустно, как ни крути,
 когда сидишь взаперти
 И время, кажется, около
 часов двадцати пяти.
 Нынче родился Блок.
 Скоро родится Бог.
 Все эпохи сместились
 времени поперёк.

Все у меня вот тут
 в доме моём живут:
 страсти, козни и казни
 псалмы по ночам поют.
 Всякий дух вековой —
 тёмный, слепой, хромой.
 А всё же псалом проклятья
 не о них сто восьмой.

Ловят все на лету
 вздох этот — в высоту.
 Вырезали по сердцу
 русскую эту черту.
 На подозренье труд
 брать, презирать иуд,
 в небе искать Отечество:
 а на земле — приют.

Дням здесь потерян счёт.
 Время здесь не течёт,
 разве что делят столетья
 только на нечет-чёт.
 Разве что час лихой
 впишут красной строкой.
 Левой грозят, но правой
 благословят рукой.

Город

1

Иногда забавно издалека
 понимать, возвращаясь вспять,
 как обида была когда-то мелка,
 а ведь жгла, не давая спать.

Незаметно зажил синяк и порез.
 ...Был один — хорошо знаком —

попросил займы, и тут же исчез
 он, как только стал должником.

Иль подруга, полная куража,
 с ходу, только зайти успев,
 начала бессвязно кричать, дрожа,
 выплескивая свой гнев.

2

Словно пойманный вор теперь у меня
всё дурное — здесь, на цепи.
А былое — как город при свете дня,
строившийся в степи.

Здесь сохранны преданья книг родовых,
не иссякнут хлеб и вино.
Здесь и мёртвые живы — среди живых
не стареют они давно.

И Никола-Угодник, и князь Андрей
Боголюбский — в сердце простом.
И архангелы грозные у дверей
держат жезл и зеркало с крестом.

И страна моя — в горестях и трудах —
лишь одной ногой на земле:
вся — в таких невидимых городах,
с белой птицею на кремле.

«На корабле зимы»

«И выдать потом за своё...»

Анна Ахматова

Это море снегов вокруг, волны, брызги, блёстки окрест
моего затворничества, напоминающего домашний арест...
А я словно на корабле плыву, не зная куда,
не оставляя следа.

В юности я написала книгу «На корабле зимы».
Так и плыву с тех пор мимо сумы, тюрьмы,
мимо людей испуганных, срывающихся на крик,
мимо подростков, коверкающих язык.

Мимо женоподобных мальчиков, бой-баб, героинь...
На горизонте сливаются ян и инь.
И ледяная корка вот-вот сомкнётся кольцом,
а я всё плыву мимо дворника с сарацинским лицом.
мимо хромой старухи, как пред концом:
беседующей с чернецом.

...Мимо собственной жизни, оставшейся на берегу
и отправляющей мне послания — все в мокром снегу.
Буквы их расплываются, рвётся бумага — тонка,
где-то совсем не понятно, что это за строка.
Где-то рифма утеряна, где-то в размере сбой.
Я это подменяю собой.
Словно прорехи заделываю и, впав в забытье,
выдаю потом за своё.

Тысяча девятьсот двадцать первый

Остаётся только вздыхать да зубами клацать.
Ходит слух — уплотнению подлежит Блок.
Гиппиус язвит:
— Хорошо бы ему *двенадцать*
подселили под самый бок.

Гнусно шипит пластинка, скрипит шарманка.
Кто-то вздыхает:
— Повезло Гуро,
успела уйти в тринадцатом, будетлянка!
Нырнула в своё зеро.

Кто-то подхватывает:
— Врубель вообще в десятом —
вовремя перешагнул порог:
летающего демона изобразил крылатым,
не знал, что тот коренаст, приземист и кривоног.
...А я в тот год был беспечным, юным, богатым,
влюбленным, верящим: с нами Бог!

— А Чехов ушёл в четвертом, напустил дыма,
отравленных набрызгал чернил,
чтоб каждый стал думать: в России невыносимо,
такая пошлость! — словно приговорил.
...В тот год я дивился красотам Рима, —
начал кто-то,
но дрогнул и закурил.

Месть

Ох и мстителен человек! Свой пыл
он вложил в мечту об одном:
чтобы труп врага по реке проплыл,
чтоб проплыл под его окном.

Предвкушая, он час роковой зовёт.
Смотрит — чёрной волной гоним,
труп врага по воздушной реке плывёт
да вмерзает в лёд перед ним.

Ледяною глыбой мертвец, чужак,
застывает в его крови.
А теперь хоть кричи, разрывая мрак:
— Оживи его, оживи!

Карантин

«Я на дне...»

Иннокентий Анненский

Я на дне. Я как будто обмылок:
всюду пена, вверху — пузыри.
Кто был молод, и ярок, и пылок,
цепенеет и блекнет внутри.

...Помню небо. Зигзаги полёта.
Тело — легкий в шагу пилигрим.
А глаза — золотые ворота.
А душа — Божий сон, Вечный Рим...

И уже на пороге забвенья
мне бессонница делает знак,
что тоскуют по мне сновиденья,
да в чумной их загнали барак.

Алина Гатина

Саван. Второе дыхание

Роман

1

Мальчик не видит, кто первым бросает землю. Он стоит во второй шеренге, и темные спины загораживают ему свет. Большие смуглые руки держат его за плечи и не пускают вперед. Он знает, что, если и подойдет близко к могиле, ни за что не станет смотреть вниз. И про себя молится так, чтобы большие руки держали его сильнее.

Это он представляет завтрашний день. А сейчас ночь, и комната, где на четырех сдвинутых стульях лежит отец.

Всю ночь, пока отец лежит в комнате, он сидит рядом с ним.

В круге занавешенных зеркал и помутневшего хрусталя, запертого в серванте, он пристально вглядывается в его лицо — белое и вытянутое, ставшее как будто длиннее после смерти.

Подбородок подвязан марлей, так что мертвый отец похож на человека из детских книг, у которого разболелся зуб.

С того момента, как отца занесли в дом, он ни разу не заплакал, а только ходил и повторял про себя одну фразу, будто пытаясь свыкнуться с ней и все никак не решаясь в нее поверить: «Папа умер».

— Умер, — говорит он почти про себя, едва заметно шевеля губами. И, глядя на тени в складках савана, настойчиво повторяет: — Надо привыкать. Надо привыкать. Надо заставить себя смотреть на его лицо и больше уже не спать. Это не может быть конец света. Это не может быть, чтоб мне всегда было плохо, как сейчас. *Он* сам говорил: есть ночи как ночи, а есть рubeжи.

И в первую такую ночь мальчик думает о смерти и о жизни так, как если бы стоял между ними и свет от одной видел в тени другой.

И только теперь, рядом с мертвым телом, чувствует, как хочется ему быть живым. И даже стукнуться о пианино у стенки или ладонью накрыть свечу. И не сознанием только, а телом, уколотым болью, ощутить свою живость.

Алина Гатина родилась в Чимкенте в 1984 году. Окончила Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Литинститут им. А.М.Горького (2018; семинар Олега Павлова). Лауреат литературной премии «Алтын тобылғы» (Фонд Первого Президента РК) за роман «Саван. Второе дыхание». Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 2.

И еще — что отцы загадочней матерей, потому что многие из них не умеют ни пользоваться силой, ни признаваться в слабости.

И что поэтому так сложно в мире мужчин и так невыносимо душно в мире женщин.

Еще до темноты, прячась за шторкой, отделяющей кухню от коридора, ловил голоса:

— Да есть ли разница, когда умирать?

— Кто умер, тому нет. А кому хоронить — большая. Зимой тяжело копать. А летом жарко готовить.

— И тело портится.

— Не сиди с ним, — мать тронула его за плечо.

Она выглядела сейчас как всякая женщина, которая легла, переделав кучу дел, и, засыпая, думала об этих делах. И утром вставала уставшая, разбитая, заранее ненавидя наступивший день и то, чем ей предстояло заниматься.

Ее заспанное лицо не выражало ни боли, ни безутешности. Оно было до того обыденно, и так по-обыденному прозвучал ее недовольный голос, что мальчик удивленно взглянул на нее: понимает ли она, что завтра хоронят отца, что, мертвый, сейчас он лежит перед ними, и что это не просто ночь, и не просто так он сидит рядом с ним.

И тут мать назвала его Роликом, чего уж, конечно, никогда не делала.

Так звал его только *он*, а она, как по документу, звала Ролланом, негромко, но настойчиво повторяя: «Роллан, Роллан».

Он был уверен: она не любит его так, как любил отец, потому и придумала звать его этим странным чужим именем.

— Ну и чего тебе не нравится? Имя с прицелом на будущее. А что такое Ролик? Ролик-алкоголик.

Выходя из комнаты, она обернулась, закрыла лицо руками и потерла глаза:

— Ложись. Завтра много дел.

— А он как?

Мальчик не взглянул на отца, но кивнул в его сторону:

— Кто-то должен сидеть.

Он хотел сказать «с ним», но, помедлив, произнес «здесь».

— С ним не обязательно.

2

Никогда еще Ролик не видел покойников. В прошлом году в их классе учился мальчик. Его звали Шатов Иван. Он болел астмой и на уроках почти не бывал. А когда бывал, то садился прямо перед Роликом. И Ролик видел его сгорбленную худую спину в застиранной синей футболке.

Иван шумно дышал, и по светлому уютному классу носились свистящие звуки его короткого обрывистого дыхания. Как рыба, брошенная на песок, он жадно вдыхал воздух, и этот глоток громко и явственно повисал над головами учеников.

Ваня краснел и смущался, и втягивал в плечи большую угловатую голову, посаженную на тоненькую шею, а его острые лопатки, как обрезанные крылышки, выпирали из-под выцветшей футболки.

Когда учительница давала Ване прочитать отрывок из книги, чтобы нарисовать ему хоть какую-то оценку, Ролик мечтал, чтобы это поскорее кончилось.

Ему было жалко Ваню, как и всем остальным ребятам.

И даже Рубен Пинхасов, который вообще не любил читать вслух и делал это плохо, как бы невзначай говорил:

— Хватит, Иван, дальше читаю я. Эту книгу я люблю больше.

А на весенних каникулах, когда деревья только-только набирали почки, их классная обзвонила всех и сказала, что Ваня Шатов умер и надо собраться у его родителей, чтобы посочувствовать и отдать деньги.

Ролик и тогда не видел покойника, потому что дома его не было, а был он в морге, да и заходить в квартиру всем классом они бы не решились.

Тогда поднимались по старой скрипучей лестнице двухэтажной хрущевки. Они не хотели шуметь, но лестница отдавала гулом, будто стоном, вместо похоронного марша.

Классная шла впереди и, не дойдя до Ваниной площадки одной ступеньки, остановилась:

— Тише, ребята. Шумим... нехорошо.

И настойчиво повторила:

— Тише.

В тесноте подступили обшарпанные стены с истертыми надписями и маленькое посеревшее окно. За ним висела такая же серая туча, большая и неподвижная, как черно-белая фотография.

На подоконнике лежали мертвые мухи, и тонкий серый паук на длинных лапах пробирался меж ними к своей паутине. Вязаные края ее снизу были разорваны и покрыты пылью, отчего она походила на истлевший бархат.

Классная поднялась выше, с полминуты поколебалась у двери и коротко нажала на звонок.

Ванина мама вышла на лестничную клетку, молча приняла конверт и позволила классной себя обнять. Потом взялась за дверную ручку и, глядя на свои тапки, сказала:

— Хорошо им, живым.

И классная заплакала. Девочки заплакали тоже. А Рубен толкнул Ролика в бок и сказал, что это она от обиды.

Ролик думает о том, что такое счастье, и о том, был ли он когда-нибудь счастлив. В школе они писали сочинение на эту тему. Большинство ребят написали, что счастье — это когда в семье все живы и здоровы, а в мире нет войны.

Учительница хвалила такие сочинения за правильность мыслей, но ругала за то, что никто не подошел к заданию творчески. Не рассказал что-то личное и важное о себе самом.

Ролик тоже написал что-то подобное. А пока сочинял про счастье, думал об отце, который пьет, и об Алке-парикмахерше из дома напротив.

И только Рубен Пинхасов написал так: «Счастье — это когда пришел на контрольную, а Коробейникова Ира не заболела и пришла тоже, и Петренко не успел сесть рядом с ней, а сел я и все списал».

Учительница зачитала его сочинение вслух, а в конце приписала: «Честно и оригинально». И поставила двойку.

— А говорите, что нужен творческий подход. Ну вот же, написал я вам о личном, и сам же еще поплатился.

— Одно предложение, Пинхасов? По-твоему, это сочинение? Коробейникова, я запрещаю тебе садиться рядом с Пинхасовым.

— Я не виноват, что мыслю кратко и оригинально. Сами ведь написали.

— Я поставила тебе двойку не за это. А за то, что ты дурачишься. Фомченко, ты почему сдал пустую тетрадь? Где твоё сочинение?

— Нету.

— Опять двойку захотел? Сегодня же вызову твою мать.

— Да пожалуйста. Она все равно не придет.

— Это почему?

— Некогда ей языком чесать.

Учительница задохнулась:

— Вы! Вы почему такие? Вы для чего в школу ходите? Я для кого стараюсь? Я же хочу, чтоб вы стали нормальными людьми! Вам же еще жить и жить!

— Да проживем мы без ваших сочинений. Я-то уж точно проживу.

Она ударила ладонью по раскрытому журналу:

— Не проживешь! Не проживешь, я тебе говорю!

Это был открытый урок. На задней парте, в длинном растянутом свитере, уткнув мальчишечью голову в раскрытые ладони, сидела худая математичка и ничего никуда не писала.

— Как-то ведь живу до сих пор.

— Как? Перебиваешься с двойки на тройку, дерзишь старшим, позоришь мать. А дальше что? Дурная компания, алкоголь, сигареты, наркотики?

— А вы задайте нам другое сочинение: «Что такое несчастье?» Тогда увидите, как мы раскроемся. За себя уж ручаюсь.

— Это почему?

— Да потому что про несчастье можно столько написать! В тетрадку не влезет! А ваше счастье — мир, дружба, жвачка — вранье. Вот и пишут вам вранье.

— Фомченко! Александр! Саша...

— Саша. Да. Я Саша. И я не верю в ваше счастье. И писать мне об этом нечего. Еще раз зададите — еще раз сдам пустую тетрадь.

Выходя из класса, математичка подмигнула Рубену, а в учительской, вытянув ноги на диване, сказала:

— Вы меня, конечно, извините, Елена... Николаевна, но, по-моему, это не ваше призвание. Вам не нужно работать с детьми. И что это за реплика к Фомченко: «Дурная компания, алкоголь, сигареты, наркотики». Вы это серьезно всё?

— Я двадцать лет в педагогике. О чем вы говорите?

— Я весь урок слушала, как вы их отчитываете. Вы не учитель. Вы — надзиратель в колонии строгого режима.

Она закинула руки за голову и уставилась в потолок:

— Дети не слышат, когда на них орут. К тому же с вами элементарно скучно. Вы устарели, как наша методичка по дидактике. «Алкоголь, сигареты, наркотики...»

— Да что вы знаете о детях? У вас даже своих нет.

— Ха! Когда это вредило нашей профессии? И когда ей помогало их наличие?

— Вы курите при них!

— В форточку.

— Это, по-вашему, педагогично?

— Непедагогично задевать их личности.

— Но вы подаете им дурной пример.

— Дурных примеров им хватает и без меня. Я же учу их быть свободными. Не лицемерить и ничего не бояться.

— Свободными их учат быть знания! Сочинения, собственные мысли.

— Что ж вы им лепите двойки за свободу мысли? После вашего сегодняшнего разноса они будут думать, что мыслить не как все — плохо. А что плохого, если для кого-то счастье — это сесть с нужным человеком, чтобы списать.

— По-вашему, в этом счастье?

— Нет, по-моему — в другом. Но это по-моему. А для вашего ученика в том, о чем он написал.

После урока Рубен потащил Ролика к себе, расспрашивать о счастье бабушку.

— Математичка из старших, конечно, не Мэрилин Монро.

— Да, не королева красоты.

— Худая, как селедка, и губы не красит. Зато соображает она по-нашему. Ролик, слушай, что я сочинил. Если нам зададут писать про несчастье, я напишу такое:

«Несчастье — это когда пришел на контрольную, а Коробейникова Ира заболела и осталась дома, и списать мне было не у кого, потому что сидеть с Петренко — всё равно что ни с кем не сидеть».

Большая желтая луна уже налилась цветом, уже достигла своей зрелости и теперь начинала убывать. Маленький неправильный кусок отломился от ее края, но свет был ярким и ровным и густо заливал комнату, в которой мальчик сторожил последнюю ночь своего умершего отца.

Потом задул ветер и пригнал откуда-то разорванную стайку облаков, и они забегали по луне, как тени и отсветы далеких миров.

Тени эти проникли в комнату, прошились по завернутому в белый саван отцовскому телу, и мальчик подумал, что где-то на свете наверняка есть такие же дети, как он, которые сидят со своими умершими отцами и думают о том, с чего все началось.

С чего начались их несчастья, он точно не знал. Как не знал и того, почему некоторые отцы пьют, а некоторые — нет, и почему некоторые живут в семьях, а некоторые из них уходят. Но что-то тревожное поднималось в его душе, когда он думал о доме, расположенном по соседству. И образ отца, и этот дом будто умещались в его голове на одной общей полке.

А было так, что летом, когда они только-только переехали на эту улицу и ни с кем еще не познакомились, женищина из соседнего дома, развешивая на веревке белье, окликнула через сетку его мать и хриплым, нарочно веселым голосом проорала:

— Наконец-то хоть одна приличная семья поселилась!

А мать, которая тоже развешивала белье, спросила:

— Это вы мне?

— Ну а кому? Тебе.

Мать улыбнулась:

— А другие что, неприличные?

— А другие неприличные, другие вынужденные.

И тоже улыбнулась. Как оскалилась.

Сергей Золотарёв

Стрекоза и глассада

* * *

вода протекает с голоса
записывает поток
сознания пухнет с голода
и делает свой глоток

а ты вызываешь слесаря
желаешь сменить бачок
увидеть как жизни следующей
затянется родничок

но скажет тебе протекшая
сквозь толщу времён вода
простите меня простейшие
простёртые в никуда

* * *

а проснулся утром ранним
в наступающем былом
ощущая тело — рамным
выставляемым стеклом

осознал запасный выход
из корёжащихся тел:
крылья глаз раскрыл и видел
так как если бы летел

* * *

по переулкам из саманного
необжитого кирпича
летит колечко безымянного
пересечённого луча

и дождь стремится стать для армии
её болельщиков своим
смешавшись с толпами фонарными
тоской упившимися в дым

его метёт твоя фантазия
и прерывание прямой
возможно лишь при эвтаназии
по просьбе линии самой

но если свет берут из пальчика
то остальную бездну вод
как нерадивого купальщика
перевернули на живот

* * *

коробка для мячей Ролан Гаррос
в коробке банки по четыре штуки
хранятся под давлением насос
что их качал имеет те же руки
что и ракетка выбившая дух
из первых двух

мячи лежат по сути безымянны
как имени живого семена
покрытосемянных голосемянных
их много а действительность одна

когда я на ладони мяч катаю
когда подачу пробую зажать
он надо мной имеет ту же власть
что я над этим чудом из Китая

а быть поименованным в раю
желает каждый оттого раздута
до вечности сферической минута
когда я их из банки достаю

* * *

дождь идёт но не доходит
до обещанной земли
тормозят его на входе
крутят капли из петли
запрещённые к провозу
обнаружив вещества
и обратно «паровозом»
выдыхается листва

* * *

деревьев сломанные брички
и запряжённая листва
куда-то тянет по привычке
земные соки вещества

ещё недавно птица-тройка
казалось медленно плыла
сквозь темноту мироустройства
тряся небесные тела

а вишь гуляет распряжённой
в осенней утренней глуши
и все вокруг мужья и жёны
и одиноких ни души

* * *

пока человек идёт он не тонет
но стоит остановиться
и он различает лица
как свет отложений донных

самолёт тяжелее воздуха
корабль железистее воды

но держатся ибо гвоздики
в подошве судьбы тверды

движение как моча
бьёт человеку в голову
но стоит ему замолчать
как в рот заливают олово

* * *

Этот текст об улитках,
об их виноградной икре.
Эдик выложил плитку
у себя во дворе.
И захлопнул калитку.

Как больной мочеточник,
светит в доме ночник.
Словно острые камни из почек
лезут строчки из книг.

Ибо лучше — без света
в волосах темноты.
Лишь улиток кометы
ледяные волочат хвосты

среди греческих мифов.
Самиздат и самшит.
Ты как золото скифов,
что под лифом курганов лежит.

Как же быстро улитки
по спирали уходят во тьму!
Как же здорово липнут
они ко всему!

Вспоминаются Липки.
Регулярный, верлибры —
ни душе, ни уму.

— Аня, Анечка, Аня —
мама трогает лоб:
— Где свеча зажиганья,
погасить её чтоб?

А моллюски-то гермо-
шлемы носят, назад заломив.
Из улиточной фермы
вырастает своя Суламифь.

Виноградное тело.
Виноградное тело её
носит Аня несмело
через день, как своё.

А в другом мужиковском промозглом
сером невиннограде наук
Соломон — тот который безмозглый —
в банке пива сидит, как паук.

Воспевает её в своих Песнях.
Песнью Песней те песни зовёт.
Пёсьи головы носит на чреслах
и кошачьими мордами пьёт.

Но холодные слизи
в своих мокрых телах
утащили ту часть твоей жизни,
что для раковин — чистый шеллак.

* * *

в чисто поле ушёл горевать
где уже как неделю
одуванчик-кровать
разложил себе вместо постели

там круглее углы
и вселенная как на тарелке
и жужжанье пчелы
словно тиканье стрелки

а из базовых слов
отложил на рассаду
словно дедушка И.А.Крылов
стрекозу и глиссаду

Лидия Григорьева

Термитник new

*Роман в штрихах**

Путь в Париж

Военный переводчик Марат Сиразиев не любил тех, кому служил и кого обслуживал переводами со всех диалектов арабского на русский и французский. Элита, интеллигент, барский сынок с молодых ногтей, он хотел работать в Париже, в крайнем случае в ООН или ЮНЕСКО, а вот поди ж ты, влип, женившись не на дочке нужного человека, которую ему сватали, а на яркой красавице Ларисе, троечнице с факультета славянских языков, родом из казачьей станицы на Кубани. На их московской свадьбе шумная казацкая родня, все эти тети-дяди, братья-сестры, сватья и кумовья в подпитии шумным хором затянувшие «Розпрягайтэ, хлопцы, конэй!» — ввергли в шок истеблишмент дипкорпуса, коллег и сотоварищей отца и деда ослепшего от любви жениха. А вот когда молодые поехали к ее родне в станицу, было уже поздно пить боржоми. Лариса родила. И он оставил ее «баькам», чтобы помогли выходить якобы недоношенного семимесячного сына. Эти семь месяцев его и насторожили. Для недоношенного их младенец был слишком большим и здоровым. И сомнения в отцовстве изгрызли душу молодого дипломата. Дом в станице оказался приземистым и небольшим. Но рядом с ним уже поднялись под крышу стены нового дома, строящегося на валюту, заработанную Маратом в его первых зарубежных командировках. По двору важно ходили гусак с гусынями да петух с хохлатками.

Посмотрел Марат на это хозяйство из окна своего мерседеса, да и газанул до Краснодара, а там — до Москвы без оглядки. Только его и видели. Видели-видели потом в парткоме, уже на излете советской системы, где с него успели снять стружку за развод и в наказание отправили на службу в нищую арабскую страну, где жили не народы, а племена, тысячелетиями воюющие между собой. «Это же не люди, а зверьки! Они ничего не знают и не умеют — только убивать», — с тоской думал молодой

Григорьева Лидия Николаевна — поэт, эссеист и фотохудожник. Родилась в 1945 году на хуторе Лысый Новосветловского района (ныне село Лысое Краснодонского района Луганской области). Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Автор многих поэтических книг и романов в стихах, в т.ч. «Небожитель» (2007), «Сновидение в саду» (2010), «Вечная тема» (2013), «Русская жена английского джентльмена» (2017). Живет в Лондоне.

* Журнальный вариант

военный специалист и блестящий переводчик, совершая намаз в полуразрушенной мечети на окраине пустыни. Хотя где у пустыни окраина, а где начало, один только Бог знает.

Того, что он принял ислам, не знали даже родители. Не знали они и того, что он уже год как был в плену. Но не у этих полудиких племен, а в плену любви к дочери местного шейха. И пустыня его сердца заросла новыми цветами — в основном опийными маками. Вот и его самого словно опиум опиили. После свадьбы шейх отправил их в Париж, где молодая жена должна была закончить магистратуру в Сорбонне и где ее отец подарил молодым совсем небольшой дворец рядом с Булонским лесом.

Кафе Concerto

И она стала сниматься в дорогой подростковой рекламе магазина Burburian. Ну, это там, где все детские модели похожи на жертв взрослого насилия. Жертвы педофилов. Бледные. С черными кругами под глазами. Словно наркоманят потихоньку в результате пережитого стресса. Вот защитники ЗОЖ и вышли на Пикадилли с плакатами: «Долой Варваров!» «Защитим детей от взрослых!»

И Катин друг туда же! Чудик этот Джон. Зожист заядлый. Не пей это, не ешь то. Хорошо, что просто друг.

Сама по себе Катя была девочка здоровая и веселая. На хорошем счету в своем лондонском колледже искусств. А вот портфолио у нее состояло из кровавых ужастиков: друзья-приколисты охотно снимались в ее mini-movie. Понарошку убивали и расчленили, охотно падали, измазанные кровавым томатным соком, строили жуткие рожи и хохотали до упаду за кадром. На эти учебные съемки она и зарабатывала себе деньги вызывающей возмущение рекламой. И заняла первое место в конкурсе студенческих работ.

И тут же, как по маслу, ей позвонили и предложили встретиться со «взрослым» режиссером. Место она выбрала сама. В кафе CONCERTO на Риджен-стрит. Любила сладкое. А там самые-самые вкусные пирожные. Итальянцы, сэр! В самой Англии с этим напряженка. Исторически невкусные сладости. Хотя можно было милостиво назвать это своеобразием островного вкуса.

Дядька оказался совсем престарелый, явно за сорок. Модная лысина лоснилась, как лакированная. Очки-хамелеоны бликовали, реагируя на солнечный свет, и поэтому надежно закрывали глаза. И что еще поразило Катю — русский! Этого еще не хватало. И ладони протянул, как в доковидные времена. А они оказались влажные и липкие. И Катя, извинившись, сбежала вниз по лестнице в туалетную комнату, чтобы вымыть руки. По пути обдумала ситуацию, позвонила Джону и сказала, что ждет его. Срочно. Пока она бегала, забыла, как зовут ее интересанта. Отвыкла от русской привычки отягощать имя отчеством. Во! Абдулалиевич, вспомнила! А firstname как ветром из головы выдуло. Ну, ладно. Карточку даст, если по делу. А если просто так... дальше она испугалась даже думать...

Этот... вспомнила имя из русской сказки... Руслан... Абдулалиевич листал в планшете ее портфолио. А что там листать-то особенного. Не наработала еще. Но знала, что сумеет и сделает. Ну, если выживет и доживет. Вот и этот, как она четко поняла, вспомнив его вспотевшие ладони, лысый русский хамелеон, туда же. Сейчас в гостиницу позовет «договор подписывать».

«Твою маму зовут Лариса, да ведь? — неожиданно спросил дядька. — И тебе скоро шестнадцать, верно?» «Ну, вы еще скажите теперь, что вы мой папа!» — пошутила Катя. «Я оплачу твои проекты, — сказал этот странный взрослый. — И маме не говори, что мы виделись. А талант у тебя от меня», — добавил он и вышел, заплатив за дорожные, недоступные студентам пирожные, которые они потом с прибежавшим на выручку запыхавшимся Джоном с аппетитом съели. В полном молчании, следует отметить. Джон, как всегда, ни о чем ее не спросил. А обычно смешливая Катя словно бы не заметила, что он теперь ест вкусное и жирное, как все люди, а не как упертый жокист.

«Знаешь, Джон, — прервала вдруг молчание Катя, — а ведь мама у меня — гений! Это уже пятый мой папа...»

Псалмы могильщика

«Могильщик пел вместе со мной. Он знал католическую службу. Он так обалдел от моего заупокойного пения, что заплакал. Думала, слезы у него от ветра, оказалось, что от молитв. Пела я и на латинском, и на нашем церковном. Униаты мы, у нас и то, и то в почете. Слышу, подпевает. Хотя ведь привык хоронить. А сердце не окаменело. Жаль, плохо английский знаю, не смогла с ним поговорить. Но общий язык мы нашли. Он и без слов понял все, когда я стопку водкой наполнила, накрыла кусочком хлеба и поставила на надгробие, как у нас в народе принято. Это не так, как у иудеев: камень нужно на могилку класть, — так мне в Иерусалиме сказали. У нас с языческих времен мертвых кормят, потому что не верят в смерть, наверное. Могильщик потом и выпил со мной, и пирожком закусил, не побрезговал, хоть и местный. Он ведь и не могильщик вовсе, по большому счету. Смотритель этого закрытого кладбища. Скучно ему тут, это я и без слов поняла. Когда пришла, номер могилы ему показала от руки написанный. Он и потащился за мной, прихрамывая, аж на самый дальний край. Тут и был похоронен мой Володя, старший сын. Его не просто машина сбила. Его сначала впечатало в стенку дома, а потом, вторым заходом, нанизало на железные штыри ограды полуподвальной квартиры, каких много в центре Лондона. Сама теперь это видела. Ходили мы туда, где мой сын искал работу, а нашел свою смерть. Женщина, немолодая уже, а туда же, за руль. Сказали, что она со стоянки возле английского храма вместо на газ нажать, включила заднюю передачу, и на огромной скорости задний ход дала. А он просто на тротуаре стоял, у заборчика этого со штырями, острыми, как копья. Сын с автобусом туристическим приехал да и остался в Лондоне нелегально. Тогда многие так делали. С Украины мы, из Мукачево. Никакой работы там давно уже не стало. Вот только сейчас, почти через десять лет, смогла добраться до него. Его тогда церковь английская похоронила, возле которой это случилось. А у меня ни паспорта зарубежного, ни денег. Но младший подрос. Поработал в Польше, теперь это свободно. Купил мне всё: и паспорт венгерский — дед у меня был венгр, и билет. И сам со мной поехал. Вот он идет. Ходил за цветами, чтоб посадить. Этот наш могильщик, что пел псалмы со мной, сказал ему, поливать их будет. Хорошо тут у вас. Кладбища зеленые, прибранные. Уходить не хочется...»

Пуанты

Что нашли в кармане у арестованного? Кружевной носовой платок с инициалами убиенной. Она лежала тут же в комнате, на ковре, неловко подвернув ногу под себя в позе, которая показалась судмедэксперту анатомически невозможной. «Она балерина. Известная, — сказала соседка, вызванная в качестве понятой. — Да эти балетные и не так ноги за голову забросить могут!» — добавила неприязненно. Юноша, почти мальчик, не мог стоять, его шатало и трясло. И оперативники разрешили ему сесть. Он и сел — мимо стула. Подхватить не успели. Ударился затылком о край старинного резного комода и потерял сознание. «Кто это?» — спросили соседку. «Она говорила, что племянник. Он часто приходил. А в последние несколько дней, похоже, что и ночевал тут. Выходил рано утром, еще до зари, выгуливал ее собачку. И вот именно вчера утром он нечаянно уронил поводок, и эта балованная такса Клякса — так ее звали, сбегала от мальчишки. Зря вы его подозреваете. Он очень нежный. Знаете, он даже плакал, когда собачка убежала. Я в окно видела, рано встаю. То ли ее жалел, то ли себя, потому что Инга эта Воронина никого не любила, кроме таксы». Понятая подписала протокол осмотра и ушла. Судебный врач сунул мальчишке под нос нашатырь и привел в чувство этого нежного подозреваемого в убийстве с отягчающими. Бригада уехала. И труп, и преступника увезли. Дверь опечатали. Квартира словно оглохла от внезапной тишины. И могло показаться, что мебель и вещи облегченно вздохнули после пережитого шока. Потому что в тишине стали слышны вздохи, скрипы и даже чьи-то сдавленные рыдания. Со всей очевидностью заскрипели дверцы огромного старинного шкапа, и оттуда буквально вывалился довольно большой упитанный мужчина. Он с грохотом упал на голый паркет, ведь ковер увезли вместе с балериной и пятнами крови как главный вещдок.

Соседка снизу, та самая, что была понятой, услышав шум в опечатанной квартире, тут же позвонила участковому, благо он жил в том же доме. Печать на двери оказалась нетронутой, но из-за двери слышались странные, kloкочущие звуки. Это рыдал отец нежного мальчика, обнимая пуанты Инги Ворониной. Он так и выпал с ними в обнимку. Да, убил, в страшном гневе, потом струсил и спрятался, когда услышал скрежет ключа в замке. И теперь он оплакивал и жалел и убитую им балерину-педофилку, и жалкого, глупого своего мальчишку, и самого себя — в первую очередь.

Полнолуние

Искали. Искали. А найти так и не смогли. Все знали, что он любил ездить на рыбалку в дальнюю тихую заводь именно в полнолуние. Всегда один. Остановить его было невозможно. Да и некому. Большой начальник в военном ведомстве, он мог так распределить дела, так расставить по важным точкам ведомства преданных ему подчиненных, ждущих за верность повышения по службе, что в ночь полнолуния мог отключить спутниковую связь и исчезнуть с горизонта без особых последствий.

За ним стеной стояла военная династия: отец и братья — высший офицерский состав, если что. А что — «что»? То, что он с детства был полнолунным лунатиком, семья не просто скрывала от посторонних. Даже от жен! Не говоря уж о родне и

сослуживцах. Это был родственный заговор во имя продвижения семейного клана на высокие этажи госструктур.

Но даже семья не знала всей правды. Не знала, насколько все сложно и непредсказуемо в душевных глубинах их сына и брата. Настоящий «оборотень в погонах», — он видел себя в полнолунных видениях то матерым волком, то хитрым лисом, то зайцем русаком, за которым гонятся именно эти лисы и волки. То клыкастым диким вепрем, то гордым самцом-оленом в пору гона, забившим копытами соперника. Как потом оказалось, начальника соседнего отдела, на должность которого сам когда-то претендовал. Да так ведь и занял эту должность после внезапной смерти нестарого еще генерала, лоб которого на похоронах был покрыт широкой лентой с изречением из Писания, закрывшей глубокую вмятину во лбу, странно напоминающую по форме след копыта.

В ночь исчезновения полнолуние было особым: невероятная красная суперлуна. Такая бывает раз в столетие. Об этом астрономическом событии уже много дней истерически трюндели все мировые СМИ. Как ни прячься, а шило в мешке не утаишь. Запоздалый рыбак видел странное и списал потом это видение на паленую водку, купленную на станции Пузыри. Он видел, как высокий, совершенно обнаженный человек... шёл по воде! Огромная красная луна словно катилась перед ним, расстилая по озерной воде багровую ковровую дорожку, четко видную на ровной темной заводи реликтового озера, где по ночам ловились крупные шуки, жерехи и пудовые сомы! И случилось непоправимое: рыбак испуганно завопил, и голый, которому до другого берега оставалось рукой подать, вдруг словно оступился, развернулся всем телом, сделал шаг назад и внезапно провалился в черную водяную, безлунную бездну. И исчез навсегда с пьяных глаз единственного очевидца, которого никто никогда не нашел бы, не разболтай тот на весь лесной поселок о своем видении.

Об этой заводи на озере знал только младший брат лунатика. Но он в это время был в командировке в Сирии, в зоне боевых действий. Вернулся в Россию зимой. Стояли крещенские морозы. Озеро было покрыто льдом. И все же поисковая группа военных специалистов-разведчиков нашла кое-что в глубоком сугробе под заснеженными ивами.

Это был тщательно сложенный генеральский мундир и прочие личные вещи, совершенно задубевшие на морозе. Важная находка для сверхзасекреченного военного ведомства. Нашли там и записку: «Сегодня видел себя рыбой. Не распознал, какой именно, но большой и глубинной, это точно. Ну... я пошёл...»

Военные начальники с облегчением вздохнули: значит, не сбежал на Запад, значит, не выкрала его иностранная разведка. Утонул и ладно. Лишь бы секреты своего лунатического хождения по воде не продал и никому не выдал.

Но главное, что пьющего рыбака под это дело выпустили из психушки, где он долечивал свой хронический алкоголизм. Сочли его вполне здоровым.

Измена

Что ж она даже сейчас, на расстоянии лет и зим, да и на реальном дальнестоянии в разных городах и даже странах боится поставить под его постом смайлик с воздушным поцелуем: а вдруг догадается, как он ей нравился когда-то, и как не заметил этого тогда. Всю ту давнюю, светлую, белую ночь она не спала в палатке, ворочаясь с непривычки в спальном мешке на каком-то многолюдном выездном музыкальном

Юлия Кулешова

Два разных рассказа

Кость в горле

Бич гёрлз. Она снова попросила меня купить эту жвачку с ужасными наклейками. Ну как попросила... Скорее, приказала — старшая сестра как-никак, на пять лет старше меня. Я — корявая семиклашка (выше всех девчонок в классе, но от этого не легче, а только хуже — коротышки зовут меня шваброй). Сестра же в этом году уже из школы выпускается, вся такая красивая, аккуратная, как и полагается старшей сестре на зависть мне. Золотисто-каштановая волна струится по плечам, ниспадая до самой поясницы. Длинные густые волосы она всегда носит распущенными — ей хватает на это смелости, плевать она хотела на то, что будут говорить учителя. Ей нет необходимости загорать — кожа у нее от природы смуглая, как у папы; и пока я летом стесняюсь своих бледных ног, сестра свободно щеголяет в коротких юбках и шортах.

Она велит мне купить жвачки и лучезарно улыбается, в точности копируя модных красоток из телевизора, с глянцевых страниц замусоленных журналов, засунутых за трубы в нашем туалете. И даже глаза сияют под стать этой голливудской улыбке.

Я старательно откладываю в копилку те немногие деньги, что дает мама на школьные обеды, отказываюсь от прожаренных пирожков, сочащихся маслом, и пустых булочек, а сестра... не знаю, что она делает со своими карманными доходами, но только они очень быстро заканчиваются — настолько быстро, что время от времени я слышу это:

— Юль, у тебя же деньги есть?

И, не дожидаясь ответа:

— Сходи, козинаки купи.

Или:

— Сходи, сладкую соломку купи.

На мое едва слышное, но упрямое «я коплю», неизменный вопрос:

— На что?

Юлия Кулешова — прозаик, журналист. Родилась в 1985 году в г. Фрунзе (ныне — Бишкек). Окончила факультет международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета. Работает корреспондентом на телевидении. Живет в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 9.

Ответа у меня нет. Просто от прабабушки мне в наследство досталась старая деревянная шкатулка, вся обклеенная перламутровыми ракушками и еще какой-то белой крошкой — ей, наверное, лет сто уже, не меньше, так мама говорит. Иногда казалось, что только ракушки и не дают шкатулке развалиться — стенки ее, выкрашенные изнутри в бордовый цвет, едва держатся на хлипких тонких гвоздиках. Но именно вот эта хрупкость и привлекала, и пугала. А вдруг завтра ее уже не станет? Вдруг ракушки отклеятся, гвоздики вылетят, стенки отвалятся, а сама шкатулка превратится в самый что ни на есть хлам? И пока этого не произошло, я тащила туда все, что могло представлять хоть какую-то ценность, ценность для меня: бусинки от маминых сломанных украшений, разноцветные стеклышки (у меня были даже синие — самые редкие, не то что всякие бутылочные зеленые или коричневые), пара дешевых колечек, купленных в парке развлечений, ну и деньги.

Каждую неделю мама давала мне двенадцать сомов на школьные обеды, я рассказывала ей, что покупаю на них то картофельное пюре с котлетой, то макароны с сосисками, то еще что-то, а мама удивлялась: «Надо же, как вас хорошо кормят. И всего за двенадцать сомов».

Правда была в том, что не было такого меню в школе: были только пирожки и булочки. Ну и чай, компот да мутное какао. И один пирожок стоил два сома пятьдесят тыйынов.

Я не хотела ни столовских «излишеств», ни маму расстраивать. Все равно больше давать она мне не могла, и я это каким-то чутьем понимала.

Денег дома всегда не хватало. Папа то таксовал, то сидел дома, потому что машина ломалась, а мама работала художником в центральном универмаге — украшала витрины, но платили за это не так чтобы много. Иногда и вовсе товарами расплачивались. Так у меня появились первые джинсы, у сестры — темно-зеленый, жутко стильный брючный костюм.

Сладкое почти не ели. Мимо прилавков с только появившимися сникерсами, марсами и твиксами я проходила, глотая слюну и мечтая хоть раз съесть такую шоколадку в одиночку, без никого, потому что дома, если и покупали, то делили на три части — мне, сестре и самую крохотную, символическую почти, маме. Папа мужественно говорил, что сладкое не ест.

И я продолжала копить деньги, разглаживать пальцами коричневые бумажки по сому и складывать их на бусинки и стеклышки под ракушками. Однако заполнить шкатулку доверху никак не получалось. Потому что...

— Юль? Сходи, купи жвачку. Нет, две. Ну, вон те. Ты знаешь. «Бич гёрлз». Жвачки можешь себе оставить, а наклейки мне.

И вот это было самое страшное. Для меня. Это как ходить покупать сигареты для папы и переживать, что продавцы подумают о тебе: «В каком классе она учится? Уже курит? Сейчас все школьницы курят? Куда смотрят учителя? А родители куда?»

Но лица их в такие моменты не выражали ничего. То ли дело, когда я приходила за жвачкой «Бич гёрлз» и протягивала дрожащими руками деньги, дико смущаясь, опустив голову настолько низко, что подбородок упирался в грудь. А продавцы словно специально склонялись ко мне, старались заглянуть в лицо, делая вид, что не расслышали. Хотя, может, так оно и было, и я все себе понапридумывала.

Получив проклятую жвачку, я мчалась домой, и казалось, что эти два квадрата, зажатые в кулаке, нещадно жгут ладонь. А дома сестра неспешно снимала коричневую обертку с изображенной на ней грудастой девушкой, отдавала мне жвачку и шла клеить вкладыши на внутреннюю сторону дверцы стола.

Линейка у нее уже вся была в них. Но дверца стола еще нет. Блондинки, брюнетки, рыжие, белокожие и смуглые — в три с половиной ряда девушки всех мастей, и все с одинаково томным взглядом, сверкающими белыми улыбками, совершенными формами и в одних трусиках на фоне раскидистых пальм, золотого песка и бирюзовых вод. Сказочно красивые, словно из какого-то фантастического мира, где нет ни забот, ни тусклых дождей и серых лиц, и где каждый хоть по несколько раз на день может неторопливо наслаждаться шоколадками в ярких обертках со снежно-белой, неправдоподобно вкусной начинкой.

Я не спрашивала, почему она любила именно такие наклейки. И так понятно, что раз клеит, значит нравится. Или дверца стола кажется слишком скучной, да и сам стол ничем особенным не выделяется. А так открываешь ее, и там все тебе призывно улыбаются, подмигивают игриво, ласково, будто ждали тебя и только тебя.

Но я стеснялась отвечать им, смотреть на них дольше, чем секунду — моргнула и отвернулась. Сестра посмеивалась, я злилась на нее больше и больше; глотая соленые слезы вперемешку со сладкими слюнями, мысленно обещала себе, что уж в следующий раз буду тверже, не стану покупать для нее эти жвачки на свои деньги.

Жвачки со вкусом шоколада. Обе мои. Хоть зажуйся. Но удовольствия никакого. Приторная резина.

Спустя неделю она снова попросила меня сходить за «Бич гёрлз». Я глянула из-под челки и засопела, не решаясь дать прямой отпор. Мама как раз дала на школьные обеды деньги, и я уже успела спрятать их в шкатулку.

— Ну что тебе стоит? Сходи, а? Мне чуть-чуть осталось, скоро всю дверцу заклею.

— Ага, как же, — буркнула я и уперлась взглядом в узоры на ковре: вот здесь цветы, а здесь острые пики, а вот проходят дороги, и перекрестки есть — по ним проезжал когда-то фургончик с зайцем, вдоль выстраивались дома из кубиков, рождался разноцветный мир хаотичной азбуки, когда мы играли с сестрой. Давно. А сейчас ничего. Пусто. Просто ковер и ковер, чтобы ногам не холодно было. Пол, опять же, меньше мыть надо — только пройтись тряпкой по голубым рекам линолеума, что окружают ковер.

И чем дольше сестра молчала за своим столом, тем больше я уплывала в воспоминания, позабыв и о книге в руках.

— Ну так что? Сходишь или нет?

Я отрицательно мотнула головой. Сестра вздохнула.

— Если сходишь, то отдам тебе свой магнитофон.

Я удивленно посмотрела. Станный обмен. Несправедливый. Неравноценный. Подозрительный. С чего бы это ей вдруг отдавать мне свой магнитофон? У нее, конечно, недавно появился новый, но вряд ли это повод расставаться со старым. Для меня так точно нет. Я всегда любила старые вещи. И чем старше они были, чем потрепаннее, изможденнее, тем более интересными и настоящими они казались. А тут вдруг так просто сестра отдает магнитофон. Очень странно, решила я, но все же спросила:

— А точно отдашь?

— Точно.

— Ну тогда ладно.

В этот раз унижение у прилавка переживалось не так остро. Наверное, отправь меня еще и папа за сигаретами, я бы и их спокойно купила — что мне какие-то взгляды чужих людей, когда дома ждет награда?

А магнитофон и впрямь был хорош. Пока сестра лепила наклейки на дверь стола, я сидела в своем углу и восторженно разглядывала заслуженную награду: красный, двухкассетный, с небольшой антенной для радио. Правда, у меня и кассет не было, да и проигрывать их, как потом оказалось, можно было только в одном «окошке» — другое постоянно стремилось съесть пленку. Но зато можно было записывать песни, которые передавались по радио, или... что еще более волнительно — записывать себя (от этой идеи, впрочем, я отказалась сразу же, как попробовала — такого мерзкого голоса еще ни разу в жизни не слышала).

И пока я думала, где бы разжиться кассетами, сестра положила рядом со мной две, на «рубашке» каждой из них надпись: «Парк Горького».

— Держи, — улыбнулась, — мне они больше не нужны.

— А что так? — с подозрением уставилась я на нее.

— Да так. Прошла любовь, завяли помидоры, — хмыкнула она и вернулась к столу. Ей в этом году поступать, готовиться надо. Сестра решила идти на врача. Серьезное дело. Не то что мои мечтания стать то художницей, то артисткой, то и вовсе, смешно сказать, — писательницей.

И теперь, когда у меня был магнитофон, мне на пару мгновений захотелось пойти в радиомеханику. Ну, чтобы разбираться, что там к чему и уметь самой собирать магнитофоны, но я тут же вспомнила, что там надо иметь дело с математикой, а этого я точно не люблю, поэтому нет, ну ее эту радиомеханику — фотоаппарат сестры я уже как-то давно, в классе первом, разобрала, ничего хорошего из этого не вышло, только укоризненные взгляды родителей да убийственный сестры.

С того дня, как у меня появился магнитофон, она больше не просила покупать ей жвачки. Может, неприятно ей стало, что я так реагировала на это, или еще что, вот только дверка в столе отныне украшалась без моего участия. А я по сотовому разу записывала и перезаписывала песни на кассеты, иногда, волнуясь и сгорая от стыда, пробовала петь сама и тут же, испытывая отвращение к себе, стирала этот ужас; рисовала под музыку и тихонько подвывала, удивляясь, что вот так, не в записи, мой голос звучит вполне нормально, ничуть не хуже, чем у всех этих, которые гуляют по радиоволнам.

Я снова копила деньги. Шкатулка постепенно наполнялась, и вот уже пришлось переложить стеклышки и прочие сокровища в банку из-под крекеров. Сестра, казалось, вовсе не замечала меня, зарывшись в учебники. И вроде все было хорошо, но как будто чего-то не хватало. Серые, тусклые будни.

Настал день, когда я ничего не положила в шкатулку. Мама дала деньги на школьные обеды, а я взяла и потратила их — на шоколадку. Купила себе Твикс. И, зажав его в руке, поспешила домой, надеясь, что сестра еще не пришла из школы.

Так и оказалось. Я проскользнула на балкон, втиснулась в угол между старым комодом, не менее старым спасательным кругом и стремянкой, и трясущимися руками развернула батончик. Даже два. Там было два шоколадных батончика в одной золотистой обертке.

«Может, поделиться хотя бы с сестрой?» — мелькнула и тут же испарилась мысль, я прогнала ее, тряхнув головой. А затем засунула в рот сразу два батончика.

Я жевала их, чуть не захлебываясь слюнями. Жевала быстро, жадно, ведь в любую минуту сестра могла вернуться домой, а то и мама вдруг решит на обед заскочить — она так делала иногда. На ветках верещали воробьи, сцепившись между собой. А мне казалось, что это они меня так подгоняют: «Жуй! Жуй! Жуй быстрее! Жуй!»

И тут все кончилось. Я и сама не поняла, как. Просто не успела. Вроде только что у меня в руке было два батончика, а теперь одна только смятая обертка. И никакого чувства насыщения, радости, удовольствия. Вообще ничего. Пустота. И неясное, смутное, противное чувство стыда — такое коричнево-липкое, как застывшие ошметки шоколадной массы на обертке, как приторные, вязкие слюни во рту, как темный пыльный угол, в котором я сидела.

Вздохнув, я вяло поднялась — хотя со стороны это, наверное, выглядело так, будто я проползла спиной по стенке. Оперлась руками о поверхность комода. Рядом с цветочными горшками стояла папина пепельница, заполненная до самых краев. Тут же спички. Внезапно вспомнилось, как одним летом, еще до школы, я насыпала на перила балкона немного сахара, ждала, пока не приползут муравьи, а потом поджигала их — маленькие тельца скукоживались и сливались с плавящейся сладкой коричневой лужей. И не было жалости. Да и интереса особого не было... Просто... было скучно. А потом пусто.

Странная пустота тогда поселилась внутри или, быть может, была со мной всегда. Иногда она спала, иногда же шла в наступление — вот как сейчас. Окутывала тяжелым ватным одеялом, пеленала, как мать дитя. Только это была, скорее, какая-то неправильная куколка, из которой должно было вылезти что-то такое же неправильное, странное и жадное, как сама пустота.

Я чиркнула спичкой и подожгла обертку. Она корчилась на глазах, прямо как те муравьи. И вот уже пальцем стало больно; тогда я наконец очнулась и бросила ее в пепельницу. Еще пара мгновений, и от моего преступления остался только сморщенный невнятный черный комок. Это я. Вот так я, должно быть, выгляжу изнутри. Это моя душа или то, что принято считать за нее — то, что составляет мою суть. Такое же скукожившееся бесформенное, липкое, черное и противное.

Ночью мне приснилось, что я умерла. Внезапно, без подготовки. Говоря о подготовке, я имею в виду старость. Люди же обычно проживают всю жизнь, взрослеют там, учатся, задаются всякими разными вопросами, размышляют о том, что вот есть мир вокруг, а есть — они, и рано или поздно они этот мир оставят, но до этого сделают что-то, внесут свой вклад или хотя бы попытаются узнать, зачем живут, зачем пришли, зачем вообще это все.

Я же во сне просто умерла. Сидела за столом вместе со всеми. Гости какие-то пришли — дяди, тети, двоюродные и троюродные братья и сестры. Взрослые смеялись, дети бесились — словом, все как всегда. А я ела рыбу. Одна. На самом краю стола, застеленного саваном с пятнами земли.

Белое мясо влажно мерцало и казалось сладким. Я запихивала его в рот и жадно облизывала пальцы, измазанные жиром, брала следующие куски — снова и снова, разгрызала даже ненавистные прежде головы с мертвыми, будто приклеенными глазами, когда кость впилась мне в горло. Стало нечем дышать.

Я кашляла, била себя кулаком в грудь, по спине бил еще кто-то — с каждым разом все сильнее и сильнее, до фейерверков перед внутренним взором, расплывающихся мутными разноцветными всполохами. В глазах темнело, все плыло жирными пятнами, а кость разрасталась, взрезая горло изнутри. Я хрипела, как, должно быть, хрипела та рыба, костью которой я подавилась. Пальцы бессильно сминали белый саван, когда на него потоком хлынула коричневая кровь. Вязкая лужа текла по столу и поглощала все, до чего добиралась. Родственники верещали, как давешние воробьи, прыгали по стульям, по столу, нелепо вспархивая руками, перелетали с места на место, долбили носами пустые тарелки, изредка поглядывая на меня черными провалами глаз — пугающе внимательно.

А потом я проснулась — так же, без подготовки. Будто что-то выдернуло меня из воды на поверхность.

Сестра. Она сидела возле кровати и обеспокоенно вглядывалась в мое лицо. Свет от настольной лампы освещал одну половину ее лица, другая оставалась в тени. Но даже при таком освещении я снова подумала: «Какая же она красивая у меня». И какая уставшая.

— Ты кричала, — сказала она тихо.

Я кивнула. Горло саднило. Наверное, заболела. Или собираюсь заболеть. Сестра коснулась моего лба, — какая же у нее прохладная ладонь. Я прикрыла глаза, болезненно сглотнув. Кость из сна все еще была там. Но я хотя бы могла дышать.

— Даже не кричала, — после паузы вновь заговорила сестра, — хрипела. Я испугалась. Что тебе снилось?

— Что я умерла, — ответила, не задумываясь.

— И как оно? — тот уголок рта, что был освещен, дернулся в некоем подобии улыбки.

— Страшно, — призналась я. Сестра вздохнула, притянула меня к себе и, поглаживая по голове, сказала:

— Значит, будешь долго жить. Так что не бойся. Нет смысла бояться. И вообще... я же на врача выучусь. Будет у нас в семье свой врач, представляешь?

— Ты сначала поступи, — не удержалась я от подколки.

— Язва, — не осталась в долгу сестра. — Спи давай. У тебя температура, кстати. Сейчас лекарство принесу. Выпьешь и будешь спать. В школу утром не пойдешь.

Утром я обнаружила, что мой магнитофон сломался. Радио не работало, при попытке проиграть кассету магнитофон жрал пленку почему зря. Я не стала ждать прихода домой папы, а вооружилась отверткой и разобрала эту красную непонятную штуку. Внутри все было еще более непонятно — дорожки микросхем, башенки, кубики, серебристые реки на зеленых полях и засохшие тараканы. Хм, это они тут домик себе устроили — расплодились, заполонили все своими шкурками, а потом отправились на поиски новой лачуги.

Изучив внутренности магнитофона, я попыталась собрать его заново, но что-то не заладилось — то одна деталь оказывалась лишней, то три, то вообще пять. Как ни пыталась ставить все в том же, как мне казалось, порядке, как оно было вначале, вернуть детали на свои места не получалось.

Может, в ремонт отнести? Но хватит ли денег? О покупке нового не могло быть речи — на это точно не хватит.

Я вытряхнула содержимое своей шкатулки. Пересчитала. Сложила в карман и отправилась в соседний двор — там у нас располагалась мастерская. Мой несчастный магнитофон посмотрели, поцокали языком на тараканьи трупы и вынесли вердикт — починить можно, но сложно, проще новый купить. Впрочем, если я так уж прямо хочу его починить, то обойдется это в такую-то сумму, сказали мне. Я снова пересчитала свои накопления. Сумма никак не набиралась. До нее оставалось еще несколько школьных обедов. Вздохнула, забрала магнитофон и пошла домой.

По пути набрела на прилавок со жвачками «Бич гёрлз». Постояла. Подумала. И купила десять. А еще четыре шоколадных батончика: маме, папе, сестре и мне.

— Копилку, что ли, ограбила? — пошутила продавщица.

— Ага, — улыбнулась я. Внутри меня распрямлялся черный бесформенный комочек. И даже кость в горле словно стала меньше.

Не благими намерениями

Хоть бы сдох поскорее. Не «когда наконец сдохнет», а «хоть бы сдох». И как можно скорее. Иначе уже никак, не вывозит, думал Максат, пиная бордюры у школы. Бордюры были сколотыми, носок кеда стоптанным, настроение убитым. Собственные мысли давно не пугали, лишь зудели и раздражали. Он не хотел быть таким, не хотел думать так, не хотел желать *этого* своему отцу, но мысли не спрашивали разрешения — они просто появлялись, сначала неясными очертаниями, смутными образами, от которых сжимало горло и холодели пальцы, немел язык и щипало в глазах, потом осторожно проползали ядовитыми отростками — сочными, яркими, и вот уже облекались в слова — простые и оттого страшные.

Это в первый раз стрёмно думать о таком. Да и во второй, чего уж там, стрёмно. Раз на десятый Максат не только думал, но и сказал, глядя в запитое обвисшее лицо: «Хочу, чтобы ты сдох». Лицо ничего не ответило. Лицо сопело и пускало слюни. Лицо было в таких же бороздах и трещинах, что и дорожка, на которой оно лежало. И такое же серое и грязное. Ненавистное лицо. Максату было противно стоять рядом, не то что касаться. Но по лестнице из двора вышли любопытные соседи, посмотрели сочувственно, и Максат саданул кедом по колену того, кто почему-то был его отцом.

Как так вообще получилось? Почему это его отец? За что так не повезло? За плохие мысли? Ну так плохие мысли появились позже, появились из-за него, а в детстве никаких плохих мыслей не было, в детстве он радовался, когда отец приходил домой пьяным. Мама плакала и ругалась, он веселился, потому что трезвый папа — злой папа, пьяный папа — добрый папа. Пьяный папа подкидывал его под потолок, и мама замирала в дверях, одной рукой ухватившись за халат на груди, другой за дверной косяк; пьяный папа вставал на четвереньки, сажал маленького Максата на спину и рысачил по квартире, как личный пони. Папа трезвый кричал на маму, рычал на Максата и лупил по стенам, а пару раз зарядил и Максату, когда тот просто крался на кухню, чтобы попить воды. Потом папа и пьяным перестал быть добрым. Они ругались с мамой, бросались друг в друга обидными словами — чаще он, чем она, она больше всхлипывала и уговаривала, получая в ответ «ты не понимаешь». В родительской спальне что-то грохотало, стучало, мама вскрикивала, Максат, запертый в своей комнате, стучал в дверь и просил выпустить, рвался на помощь. Устав, затихал, обкладывался игрушками и крушил маленькими машинками другие — те, что побольше, шмыгал носом, растирал противное по лицу, дергал губой, морщился от стянутой кожи и вырывал у больших машин колеса с мясом, вдавливал их потной ладонью в ковер и улыбался, глядя на изувеченные джипы и тракторы. Вот они были грозными и непобедимыми, и вот они лежат днищем вверх, поверженные маленькой синей гоночной машинкой. Вот вам, вот вам, получайте, сдохните, сдохните!

Таким, сосредоточенно пыхтевшим над автомобильными битвами, его и находила мама — уже умывшаяся, старательно причесанная, с налившейся бордовым нижней губой и грустными глазами. «Как ты», — спрашивала и тянулась к волосам, он отклонялся и с громким «пууу» крушил уже раскуроченную машину. «Играешь? — дрожала неуверенной улыбкой мама. — Вот и хорошо, вот и молодец. Ты — мое счастье, балам»¹. А если я твое счастье, зачем ты живешь с папой, почему мы не уйдем от него, думал Максат, откладывал игрушку, оплетал маму руками и ногами, утыкался

¹ Балам — сынок, ребенок (кырг.).

Александр Гальпер

Побег из зимы

Рассказ

Бруклин

Той зимой замело Нью-Йорк серьезно. Метровые сугробы. Собес направил меня по бруклинским хосписам с проверкой, как расходуются городские деньги. Я интервьюировал пациентов о качестве обедов и ужинов и вечерней развлекательной программы. Как будто это имело большое значение! Каждый месяц список моих клиентов обновлялся за счет естественной убыли процентов на двадцать. Еще вчера с ним играл в шахматы или она показывала мне фотографии внуков, и вот и всё.

Нью-Йорк не был готов к такой суровой зиме, и подходы к хосписам полностью замело. Однажды вечером я поскользнулся на обледеневших ступеньках, покатился вниз и упал в сугроб. Я лежал там минут десять и даже не предпринимал никаких попыток выбраться. Я смотрел на луну и думал о полной бессмысленности и никчемности своего существования. Подумать только. Я мог погибнуть, выходя из хосписа. Отсюда и так выходят только вперед ногами! А я как бы это подчеркнул еще! Какой абсурдный конец! Я лежал в снегу и представлял себе крохотный солнечный остров Мауи, затерянный в Тихом океане, где живет мой друг детства Паша Караимов, окруженный красивыми молодыми женщинами, где не бывает холодов, все счастливы и никто никогда не умирает.

Паша был уникальной личностью. Окончил театральное училище. Красив как бог, умен. Такие в романтических фильмах играют главные роли. Какую женщину он бы ни желал, все падали в его объятия. Если он устраивался на работу продавцом, то у него, как пирожки, улетали стотысячные мерседесы или двухсоттысячные картины с его пятипроцентными комиссионными. Паша мог бы запросто стать миллионером. Но если бы бог дал Паше все, то у бога была бы серьезная конкуренция. Проблема Караимова заключалась в том, что он был неисправимым алкоголиком и наркоманом. Не было на свете гадости, которую бы Паша не попробовал. Сколько бы денег он ни зарабатывал, он все на следующий день пропивал или пронохивал. Своих самых замечательных красавиц он терял еще быстрее, чем добивался. Изменял с их подругами и сестрами или, когда входил в запой, вообще забывал, что они существуют. Но это еще цветочки. Он не чтит самого святого. Уголовный Кодекс. Однажды он

Александр Гальпер — прозаик, поэт. Родился в Киеве в 1971 году и в возрасте 18 лет эмигрировал с родителями в Америку. Окончил литературный факультет Бруклин-колледжа. Книги стихов и прозы выходили в России, США, Германии и Швеции. Финалист премии «Нонконформизм». Пятнадцать лет работает в Нью-Йорке социальным работником.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 9.

плюнул полицейскому в лицо, когда тот в метро хотел забрать его бутылку водки. Получил за этот подвиг полгода тюрьмы. Еле его отбили от депортации. В общем, Караимов был сложным человеком, и я после того, как в очередной раз попал из-за него в полицию, дал себе слово не иметь с ним никаких дел. Когда Караимов вышел, то решил, что с него хватит этого диктаторского Нью-Йорка и отправился покорять мир. Все его друзья вздохнули с облегчением.

Я уже третий месяц жил с Кассандрой, со своей начальницей отдела в собесе. Ее привезли в возрасте шести лет с Гаити и она окончила Гарвард, факультет «Французский язык и литература». Я, конечно, понимаю, что я поэт и люблю всех женщин мира, но надо было думать головой, а не членом, когда делаешь комплименты начальнику своего отдела. Я это делал, конечно, не для секса, а чтобы укрепиться на работе. Вот и укрепился. Намертво. Когда я с Кассандрой заговорил о Стендале, она в меня влюбилась. Кассандра думала, что она в Нью-Йорке единственная, кто читал «Красное и Чёрное». Но это были еще цветочки. После первого секса выяснилось: несмотря на то, что ей было тридцать два, она была девственницей, и я стал ее первым мужчиной. Для меня, оказывается, она себя хранила всю жизнь. Ее отец был известный католический-вуду священник, и она не собиралась разменивать свои чувства на недостойных. Когда я осознал свое первопроходство, то понял, что влип серьезно. Нельзя было сбежать, исчезнуть, перестать отвечать на звонки. Мы сидели рядом на работе. Она подписывала мне зарплатные ведомости и премиальные. Это была судьба! Можно было только уволиться и вернуться таксовать в ночные смены. Этого тоже не очень хотелось. Тупик! При мысли о том, что Кассандра может в любую секунду от меня забеременеть, меня начинала бить дрожь.

О Пашиных приключениях можно было прочесть в газетах. В штате Джорджия он в частном заповеднике ухаживал за дикими животными. Его уволили после того, как пьяным он забыл закрыть клетку, и львы разбрелись по всей округе. Он уснул у входа в клетку, но его хищники не тронули. Только облизали любимого уборщика со всех сторон. Львицы тоже его любили. В ту ночь во всем штате Джорджия хорошо спал лишь он один. В Сиэтле он продавал русских авангардных художников, и у него покупали, но потом выяснилось, что таких художников никогда не было и не было даже понятно, кто картины нарисовал. Возможно, сам Паша. В Лас-Вегасе он продавал кокаин китайским гомосексуалистам. В Сан-Франциско читал стихи и пел в хеви-метал группе. Отовсюду он мне звонил и приглашал к секбе погостить. Я категорически отказывался. Я еще с ума не сошел. Отовсюду он ночью бежал без копейки денег, чтобы сохранить жизнь или свободу, или здоровье. Конечно, моя жизнь была тоскливой по сравнению с его, но, во всяком случае, меня никто не хотел убить или посадить. У меня была крыша над головой, и я знал, когда в следующий раз покушаю. Возможно, я был слишком параноидальным. За что я, собственно, так держался?

Дополнительно к работе в собесе Кассандра сдала экзамен на банковского нотариуса, и я ее возил после работы по бизнесам и квартирам. Она заполняла за хорошие деньги документы на банковские кредиты и ипотеку. По вечерам в постели она доставала учебник по иудаизму, а мне всовывала огромную и страшную книгу «Как сдать экзамен на банковского нотариуса» и заставляла ее изучать. Когда я отказывался читать эту финансовую абракадабру, она возмущалась, рыдая: «Я ради тебя готова принять иудаизм и стать настоящей еврейкой, а ты даже не готов пойти на такую мелочь, как стать банковским нотариусом? Чем мы будем кормить наших детей? Твоими стихами?» Сама она с неистовством прилежного раввина изучала книги по иудаизму. Зная ее упорство, я понимал, что иудаизму не устоять. После того как она

станет еврейкой, она может со спокойной совестью знакомиться с моей мамой. Это было единственное, что стояло между нашей свадьбой, с ее точки зрения. Я осознал, что после того, как она примет иудаизм или забеременеет, моя жизнь кончится. Я лежал ночью в постели с открытыми глазами и думал. Что я делаю в этой постели? Кто я? Русский? Американец? Еврей? Чернокожий гаитянец? Я безнадежно запутался.

Паша прилетел на Мауи, самый красивый из Гавайских островов, рано утром. Денег у него никогда с собой не было. Он искупался в теплой водичке, зашел на пляже в телефонную будку и стал листать местный справочник. Нашел телефон приюта для людей с домашними животными, которым негде было жить. Ни кошки, ни собаки, ни даже мышки у Караимова не было. Он вышел из будки и закурил. Тут он увидел ползущую черепаху. Вот оно, животное!!! Он за ней погнался, но черепаха проворно прыгнула в океан и уплыла. Паша вышел на берег расстроенный. Черт возьми. Удрала. Он стал листать справочник дальше. Католический реабилитационный центр для бывших алкоголиков. Паша вырвал листок с адресом и вышел из будки.

Мое падение по ступенькам в сугроб увидел из окна своей комнаты один из моих клиентов. Он собрал других пациентов хосписа (тех, что могли ходить), и меня занесли внутрь. Подумать только. Меня, молодого и здорового, спасают люди, которые уже одной ногой на том свете. Хорошо еще, что меховая шапка смягчила удар по голове. А то я бы встретился с ангелами гораздо раньше моих клиентов. Как низко я пал! Что пошло не так в жизни моей?

Паше с его харизмой и артистизмом не составляло труда убедить директора католического центра — отца О'Нила — в том, что он бросил пить и ему нужна помощь. Ему немедленно дали одну из самых лучших комнат с видом на океан. Через месяц Караимов уже был ассистентом преподобного отца. Его любили как брата все бывшие католические и не очень католические алкоголики. У него появилась в городе гавайская аборигенка-герлфренд. Казалось бы, вот оно, счастье! Бесплатное жилье с видом на океан, питание. Есть знойная женщина. Наслаждайся жизнью. Но Паша впал в депрессию. Ему не хватало русских и русских стихов. В его голове созрел план. Паша рассказал отцу О'Нилу, что у него в Нью-Йорке есть друг-поэт в последней стадии алкоголизма, и их долг перед человечеством — спасти этого гения от бесславной смерти. О'Нил мне лично позвонил и пообещал бесплатное питание и комнату с видом на океан и вулкан еще лучше, чем у Паши. Меня в аэропорту будет ждать их автобус с цитатами из Пушкина на русском. Я положил трубку. Все звучало, конечно, очень хорошо, но Паша, Паша, Паша!!! Сколько раз он втягивал меня в какие-то передраги, сколько раз я попадал в неприятности из-за него и клялся, что никогда в жизни с Пашей иметь дело не буду. Я погуглил в интернете преподобного отца О'Нила. Бывший американский десантник, ныне теолог и доктор богословия. Известен работами о том, как добрыми молитвами и духом Иисуса из Назарета можно спасти грешников от адских щупалец алкоголизма и наркомании. Даже сам Папа Римский где-то о нем что-то хорошее сказал. Отец О'Нил, конечно, был серьезным человеком. Но не Паша! Проблема в том, что Паша не бывший алкоголик. А вполне настоящий и на высшем пике активности. А может, райский климат и беседы о боге изменили Пашу? Может, я слишком строг к своему старому преданному другу, который обо мне так заботится?

Больше всех моим падением огорчилась Кассандра. Она все время плакала. Слава богу, все обошлось ушибами и ссадинами. Тяжелая зимняя одежда смягчила удары. В больнице Кассандра быстро всех построила. Ко мне подходили только

лучшие русскоязычные врачи. Дома окружила меня любовью и заботой. Не позволяла ничего делать. Но самое главное, она выбила мне от города «производственную травму». Это означало месяц полной зарплаты и на работе появляться не надо. Хотя государственная работа и мало оплачивается, но полная зарплата немного облегчала страдания и давала возможность строить планы.

В понедельник утром Кассандра поцеловала меня в забинтованную голову, положила нотариальный учебник возле кровати и сказала перед уходом на работу:

— Ну, слава богу, у тебя теперь будет, наконец, время подготовиться к этому тесту. Соберись! Я отменила все визиты. Вечером у меня для тебя важное объявление.

Дверь захлопнулась. Какое, к черту, важное объявление? Она беременна тройней? Она уже сдала тест в синагоге и теперь считается не чернокожей католической-вуду гаитянкой, а чистокровной настоящей еврейкой? Считается кем? Мной? Моей мамой? Богом? Раввином той синагоги, которой она пожертвует деньги? А раввин другой синагоги через дорогу не будет считать! Меня охватила паника. Бежать! Бежать, пока не поздно! Сегодня, может, последний шанс. Хоть на край света. Что угодно, только не это! Я схватил телефон:

— Паша! Спасай! Я сегодня вылетаю.

— Ну, наконец-то решился. Слава богу! Жду!

Я положил трубку. Одного Пашу предупредить недостаточно. Надо не забывать, что имеешь дело со знаменитым Караимовым. Я взял телефон опять:

— Отец О'Нил! Я созрел, чтобы наконец-то бросить эту водку. Алкоголь никого ни до чего хорошего никогда не доведет. Вот недавно упал под градусом. Если бы не моя меховая русская шапка, мог погибнуть. Надо бросать. Автобус с цитатами из Пушкина на русском совсем не обязательно. Та комната с видами на вулкан и океан еще есть? Да, сегодня вылетаю. Увидимся через пару дней.

Я быстро сложил чемодан. Тот чемодан, с которым я заехал к Кассандре три месяца назад. Вышел в интернет и взял билет. Прямых на Мауи не было, а даже и не прямые были на сегодня в три раза дороже. Но кто уже смотрел на цены? Потерявши голову, о волосах не плачут. Промедление было смерти подобно. Кассандра могла взять полдня выходных, чтобы побыть с больным женихом. Я вызвал такси и вышел из дому.

Квинс, Аэропорт имени Кеннеди (Нью-Йорк)

Очередь на регистрацию рейса Нью-Йорк — Чикаго растянулась на весь терминал. Ну почему эти люди так медленно двигаются? Я стоял и оглядывался по сторонам. Если сейчас сюда явится Кассандра, устроит скандал и заберет домой, будут ли силы сказать ей, что я не поеду? Не уверен. Чувствую себя опустошенным. Кассандра, наверное, сейчас еще на работе. Или стережет меня под маминой квартирой? Сотовый на всякий случай отключил.

Как же это все началось? Как-то я и Кассандра задержались в офисе до позднего вечера. Я из вежливости предложил подвезти ее домой. Конечно, по всем городским инструкциям начальница должна была отказаться, но неожиданно согласилась. Потом я так, для проформы, предложил перекусить в итальянском кафе. Не возражала. Выпили там по бокалу вина. Потом я подвез Кассандру к ее дому. Мы сидели в машине и болтали о Стендале. Я увидел, как она открыла свою сумочку и начала в ней копаться. Она достала газовый баллончик, я перепугался. Неужели она могла подумать, что я сейчас начну ее насиловать? Она бросила баллончик назад. Не то! Достала Библию и начала читать молитву на креольском. Я смотрел как загипнотизированный и ничего не мог понять. Она закрыла Библию, бросила ее в сумку, притянула меня за шкирку и страстно поцеловала в губы.

Иван Купреянов

Хороший год, хороший год, хороший

* * *

От плоского ветра пустыни времён
в гортани становится сухо.
Хорошие люди уходят в себя,
в такую *Норвегию* духа.

Бежит паровозик сквозь арку в скале —
пузато, напористо, гордо.
И горные тролли играют в футбол
в коробке замёрзшего фьорда.

Раз в год Муми-троль из соседней страны
заходит на чашечку чая.
Вот так и живём, ис(с/к)ушения почв
намеренно не замечая.

* * *

Ещё тепло, но из-под облаков
уже пошла высовываться осень.
Я не таскал мешков её, кульков —
а кайф такой, как будто нёс и бросил.
Давно давны, волнам равно равны
обэриуты ль, гусли-ль-перегуды.
В деньках простуды мы прикреплены
к самим себе в других деньках простуды.
Мы как ботинки, в нас — особый шик!
К подошве так, что век не оторвётся,
союзку пришивает обувщик.
Goodyear welted, это так зовётся.

Купреянов Иван Сергеевич — поэт. Родился в 1986 году в городе Жуковский. Окончил МГТУ им.Н.Э.Баумана. Автор трех поэтических сборников: «Априори» (М., 2010), «Перед грозой» (М., 2014) и «Стихотворения 2010-х» (М., 2020). Лауреат премии Антона Дельвига (2015). Один из основателей арт-проекта «Мужской голос», автор (совместно с Эдуардом Бояковым) серии спектаклей «Сезон стихов» на «Третьей сцене МХАТ» и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

От пальцев тень, собака на стене.
Давным-давно, в деньки другой простуды,
живая мама всё читала мне —
и Хармса, и про гусли-перегуды.
А я сопел, я хрюкал, я смотрел
на куст жасмина, за окошком росший.
Ах, обувщик, — ты злой ботинкодел...
Хороший год, хороший год, хороший...

* * *

Думаю много часов подряд,
но голова пуста.
Если сияют, а не горят, —
в этом и красота.
Без говорения через рот
прочих немало средств.
Так понимание отдаёт
старославянский текст.
Очень отсутствие наготы
вязко и горячо.
Если умеешь летать не ты,
кто же тогда ещё?
Разве основа всего вокруг
сонная красота
точного знания губ и рук,
бёдер и живота?
Было и не было. Хлеб и сыр.
Дымные образа.
Бог, ведущий прямой эфир
через твои глаза.

* * *

Разлипается сон, проявляется полка.
Если птицы включились, — до рассвета недолго.
Между мной и не-мной возникает граница:
между тем, что приснится и что не приснится.
Я пытаюсь, пытаюсь ухватить это нечто,
сам в себя осыпаясь, как цемент или гречка.
Это сильная точка, в ней рождаются страхи,
в ней — ушедшие люди, работающие птахи.
Я хочу объяснить этим птицам и людям,
что они — это важно, и важнее не будет.
Но всегда исчезает эта сильная точка,
осыпается гречка, осыпается ночка.

Невозможная плотность секунд наступает,
и часы на пропеллере стрелок взлетают.

* * *

И тонкая кожа, и мягкая плоть —
одежка дубовой коряги.
Мы камень-и-дерево всё-таки, хоть
и правят веками варяги.
Мы помним — когда самый вырванный вой
печёночной самой печали, —
как влажное солнце в крови родовой
древесные песни встречали.
Древесные корни — пожить не дают,
приличные ценности множа.
Поэтому курят, поэтому пьют,
Мамлеев поэтому тоже.
Под гнётом бесчисленно вдавленных лет
томится древесное где-то.
Не знаю, мне радоваться или нет,
когда прорывается это.
Холодные травы ласкают туман.
Разбуженный их ароматом,
во мне просыпается бурый шаман
творить заклинания матом.

* * *

Мы живём и переводим дух
на товары братского Китая,
анархизму бабочек и мух
диктатуру пчёл предпочитая.

Неужели в этом — красота,
тайный смысл жизни на планете?
Я спросил об этом у Христа,
только Он пока что не ответил.

Что пчеле, что бабочке терять,
от пыльцы полуденной пьянея?
Безусловно, страшно умирать.
Но, возможно, воскресать страшнее.

* * *

Двухкопейка волшебная родом из СССР,
земляки мы с тобой, и я тоже немного колдучий.
Не купаться могу на заливе претензий и ссор,
не дышать ламинарией, камушков пяткой не мучить.
Побережье полно хлопотливыми залпами птиц,
у холодной губы — чебуречных белют нарывы.
Я тобой не платил, я не смог бы тобой заплатить,
двухкопейка моя, чешуя от разделанной рыбы.
Некто в шапочке вязаной смотрит с тебя на меня,
а не глобус в колосьях, которому больше не светит.
Я люблю. Это сложно. Но всё остальное — фигня.
Коммунизм наступил, почему-то — в отдельном поэте.

* * *

Не стреляйте в диджея, он колбасит как может.
На стеклянной опушке неприличного леса
тракторист и доярка объясняются нежно:
— *Дыр бул щил убещур?*
— *Скум вы со бу р л эз!*
РЛС упирая в беспощадное небо,
в этом кантовском небе мы взыскуем ответы.
Я ничтожная мышка под рукой программиста,
расторопным курсивом управляю не я.
Все планеты на месте, их орбиты на месте,
и в растрёпанном Солнце продолжается синтез,
и осколки Союза
с дискотечного шара
в астероидный пояс отражают лучи.

* * *

Наверху — бушующая прелесть,
а внизу — кипящая пыльца.
Молний нет, а жаль, они б смотрелись
переходом в золото свинца.
В бурю — верю. В бурю — в смерть не верю.
Дребезжат небесные слои,
словно в этой детской атмосфере
оживают мёртвые мои.
Я ищу, и я же повторяю:
не найдёшь, и снова не найдёшь.

Нахожу, и сразу же теряю.
Просто дождь, обычный сильный дождь.
И течёт бесформенная масса
из разлома тютчевской грозы.
Золотое пальмовое масло
и другие ценные призы.

Анна Шипилова

Пересортица

Рассказ

В четырнадцать Марина переступает порог милицейского колледжа, родители подают документы за нее: «на районе», идти недалеко, кусок хлеба всегда заработать можно. Колледж стоит на задворках бывшего автомобильного завода, куда на выходных ее отец отправляется с болгаркой за металлоломом. Марина ходит по коридорам и рассматривает витрины — медали и награды, фотографии лучших выпусков, благодарности и грамоты от правительства и Президента, подписанные синей ручкой. Рассматривает автограф и думает: «Неужели настоящая, неужели Его рукой?» Заведующая складом выдает брюки одного размера и рубашку другого, и пока она ворчит о недокомплекте, Марина примеряет свою первую форму. Вытягивает длинные руки — ткань на плечах трещит; ей вообще сложно найти одежду, мама всегда перешивает купленное. «И так уже пересортица», — бормочет завскладом, и Марине кажется, что это слово про нее — что-то между переростком и сортом груш или яблок.

— Белый налив, — шепотом говорит она, переодевшись и расписываясь в ведомости, — мои любимые — белый налив.

Ее родственников «пробивают» на наличие судимостей и связей за границей. Мама рассказывает по секрету, что прабабушка Марины была на оккупированных территориях Украины в Великую Отечественную.

— Я хочу, чтобы ты знала, только никому не проболтайся, — они сидят на кухне за столом, накрытым клеенкой с аляповатыми голубыми васильками. — Бабка тогда взяла детей, собрала чемодан, закрыла дом, заколотила ставни, когда немцы были на подступах к городу, но не успела уехать. При Сталине могли и в лагерь отправить, ну а сейчас, — мама вздыхает, — сама понимаешь, какое время. Если что, мы из Пензы. А отца твоего никогда не принимали, чтоб ему, судимостей никаких нет, — усмехается мама ртом с почерневшими железными коронками.

Прабабушка иногда закатывает банки на кухне. Марина ее видит, начиная с Яблочного Спаса. Она наклеивает пластыри на крышки и подписывает шариковой ручкой год, иногда это шестидесятые, иногда сороковые. «Доню, — просит, принимая Марину за свою дочь, — сходи за сахаром».

Марина растет под присмотром алебастрового Железного Феликса, его шести-метровая статуя стоит на первом этаже: гордый поворот головы, одна рука в кармане

кармане шинели, другая сжимает шапку. На парах — такое взрослое слово — к ним, четырнадцатилетним, вчерашним детям, спешившим домой на мультфильмы, обращаются на «вы». Преподаватели, бывшие и настоящие сотрудники милиции, объясняют им, что в школе учителя были обязаны дотянуть их до аттестата, а здесь удержаться им позволит только соблюдение дисциплины и личная ответственность. Их группы называются по-военному — взводами. Пока ее бывшие одноклассники прогуливают школу, у нее строевая и огневая подготовка, дежурства по столовой и чистка плаца от листьев и снега. Они по секундомеру разбирают и собирают автоматы — кто последний, тот дежурит сегодня. Найдя выпавшую из чьего-то кармана шпаргалку, начальник взвода останавливает экзамен и диктует выдержку из УПК, чтобы затем вычислить нарушителя по почерку; зашедшей проверочной комиссии он с улыбкой поясняет: «Проводим следственный эксперимент».

— Автомат — это оружие труса, — говорит Марине отец, сидя на гнилом дачном крыльце и расчесывая комариные укусы сквозь дырку в растянутых синих трениках, — самое лучшее оружие — винтовка Симонова. Без нее, — он, как проповедник, поднимает руку с зажатой между желтоватыми пальцами сигаретой, — не было бы кубинской революции!

Марина всегда очень спешит с огневой подготовки на стадион. Во время бега задерживает дыхание, никто не учит их дышать правильно. Все мысли уходят, и пока не начинают болеть легкие, она наслаждается пустотой и головокружением. На уроках рукопашного боя Марина хочет, чтобы к ней относились, как к остальным, просит не жалеть, но она единственная девушка во взводе, и парни на спарринге аккуратно укладывают ее на скользкие маты, застенчиво улыбаясь. Тренер вздыхает, смотрит на нее сверху вниз и показывает еще раз. Говорит, похлопывая, как лошадь по крупу:

— Ты такая рослая, ноги как у легкоатлета, косая сажень в плечах, что ж ты не используешь это? Дралась вообще когда-нибудь? Или все боятся и не лезут?

Она вспоминает случай в детстве, который можно с натяжкой назвать дракой. Лет в восемь они с дворовой подругой придумали кидать друг в друга камни из кучи, сваленной у дороги, и уворачиваться. Первый же камень Марины попал подруге в губу. Губу увезли зашивать в больницу, а во дворе с ней перестали общаться. Других друзей она так и не завела. Ее никто не наказал: отец тогда пропадал неделями, а матери было не до того.

— Я не хотела, — признается Марина тренеру, впервые рассказав эту историю, — я просто промахнулась, хотела кинуть мимо.

— Ну тут как раз надо целиться, — отвечает тренер. — Ничего, сделаем из тебя еще бойца. У нас окружные соревнования на носу, а мне из девчонок некого выставить на них. Вот прошлый выпуск знаешь какой был! — он мечтательно заводит глаза. — Бешеные все, волосы вырывали друг другу клоками, когда проигрывали, объяснительные потом писали, выговоры получали, бой-бабы, эх-х.

На пьянку по поводу окончания первого курса они всей толпой вместе со «старшаками» идут в заброшенный ДК около железки. ДК раньше принадлежал автомобильному заводу, но потом, когда производство закрыли, стал разрушаться и зарастать травой. Один однокурсник открывает ей пиво, другой передает свое, уже открытое, третий расстилает кожаную куртку на серой крошащейся плитке.

— Стремно быть девственницей. Значит, никто не захотел, значит, никому не нужна. Идеальный возраст, конечно, шестнадцать, — говорят ей.

Уголовной ответственности никакой, знает она. Девочек на курсе пятнадцать, парней в десять раз больше, поэтому даже самые некрасивые чувствуют свою ценность и понимают, что могут выбирать, кому давать. Марина затягивается переданным

косяком, неумело отпивает пиво, обливаясь пеной, и к ней подсаживается, отгоняя остальных, старшекурсник. Предлагает, ухмыляясь:

— Давай я тебя научу пить. Наклоняй медленнее, не так резко.

Приведя домой, он говорит ей, укладывая на разложенный диван:

— Ты такая чистая, такая красивая, я так рад, что я у тебя первый.

Она лежит, улыбаясь, придавленная его весом, дышит в его шею и думает, что влюбилась.

— Скоро мать придет, — он поднимает ее и комкает окровавленное полотенце, — выброси по дороге, ладно? Только не в нашу мусорку.

Марина еще долго чувствует запах его туалетной воды на шее и груди, моется частями, только чтобы слышать его дольше. Представляет, как они будут гулять вместе после пар по району, жарить шашлыки с его друзьями в лесополосе около железки. Рассматривает в магазинах платья, прикидывая, какое может ему понравиться. Втайне от матери примеряет ее выходные босоножки на шпильках, но на Маринин сорок первый они не налезают, пальцы торчат.

— Залететь — не позорно, по пьянке все бывает, лишь бы парень женился, возьмешь академ, а иначе придется идти на аборт, — говорит однокурсница.

Но он не женится.

Марина сидит в горячей ванной почти до обваривания, до ожогов. Высыхающая красная кожа потом сходит пластами. Прабабушка заходит в ванную, смотрит на нее и молчит. Марина пьет горькие отвары из петрушки, даже думает зайти в церковь, только не понимает, за здоровье ей ставить свечку или за упокой, — может, прабабушка знала такие тонкости. Но вызвать выкидыш у Марины не получается.

— Главное, чтобы отец не узнал, — рассуждает мама, — и соседи. Иначе это позор. Поедем делать аборт в областную больницу, а то в нашей все будут языками молотить. А соседям я скажу, что отправила тебя в лагерь. Этот, как его, военно-патриотический, на Селигере.

Марина лежит на покрытой клеенкой каталке, коек не хватает. То голова, то ступни свешиваются, голые ноги липнут к клеенке. Врач выдает ей таблетку, которая вызывает такую боль, будто кто-то взял сердце — то, маленькое, бьющееся в животе, и резко сдавил. Потом, как из крана, начинается кровотечение. Марину то знобит, то бросает в жар, и кровь не останавливается.

Кровь не останавливается, пока — шматками — она не теряет ребенка в темном холодном поутру туалете больницы, пока что-то в ней не ломается. Она подвывает от боли, согнувшись над раковиной, ее мама тихо плачет в платок в коридоре. С тех пор Марина навсегда перестает подавать нищим и подкармливать брошенных собак.

— А ко мне муж после смерти приходил каждую ночь, — говорит ее соседка по палате, отходя от наркоза после операции.

Бабушка на койке около окна перестает храпеть и открывает один глаз.

— Ходил и ходил, — продолжает соседка, — как живой был неугомонный, так и мертвый остался, слаб был на передок, ох слаб... Сын у меня рос, и замуж надо было опять выходить, одна бы я не потянула, вот и говорю ему как-то ночью: уходи, мне живой мужик нужен. Чтобы, говорю, и по хозяйству, и денег в дом, и сына воспитывал.

— Не страшно было? — подает голос спавшая бабушка. — Мне было страшно, когда ко мне мой приходил, после войны.

— Да не-е-е, — тянет соседка, — он же мой родной, чего бояться. Не ушел, правда, пришлось изгонять — звать батюшку.

С третьего курса Марина проходит практику в отделении, разбирает архивы в подвале, подшивает заявления портновской иглой, нумерует, составляет описи.

Огромные стопки документов высятся в углу кабинета, она набирает их охапками и перекладывает на свой стол. Знает, сколько весит работа до обеда и после. Единственное развлечение в комнате без окон — радио, на третий день она заучивает все песни, которые крутят по кругу.

Тренер посылает на округ по рукопашному бою. Перед началом соревнований по физкультурному залу проходят священники с кадилами, благословляя их на бои, долго зачитывая по бумажке на старославянском. Марина понимает только отдельные слова. Начальник взвода говорит коротко, зато понятно: «Если опозорите меня — задним числом переводитесь в кулинарный техникум».

Каждый взвод считает себя легендарным и элитным, поэтому победа на соревнованиях особо почетна. Медаль Марины вешают на гвоздик за стеклом на первом этаже. В столовой для взвода устраивают праздничный обед — борщ с пампушками и настоящее мясо, не потроха и не надоевшая курица. Марина ест, держа руки на весу и стараясь не касаться липкой клеенки.

Она обращается к Железному Феликсу, когда ей некуда больше пойти и не с кем поговорить. Из лекций по истории она знает, что он был покровителем бездомных и защитником детей. Марина надеется, что для нее найдется слово или знак. Она спрашивает его о себе, чуть шевеля губами:

— Серёжа из тридцать третьего взвода меня любит? Мама меня простила? Я сдам огневую подготовку?

Когда отец Марины в очередной раз уходит в запой, мама отправляется к нему на работу и просит не увольнять его. Говорит, что он заболел, и начальник производства делает вид, что верит. Отец — лучший сварщик на заводе, и без него все сложные заказы встают: таких качественных сварных швов нет больше ни у кого. Марина находит отца, опросив всех его собутыльников, у давней маминной подруги. Тетя Таня открывает дверь, и Марина сразу сносит ее плечом — та, задохнувшись, приваливается к холодильнику. Отец матерится, пока она тащит его по лестнице вниз. Он отталкивает ее, но Марина понимает, что стала сильнее и выносливее, рукопашный бой не прошел даром. Она заставляет отца снова закодироваться, и в конце месяца у нее появляются зимние сапоги, а у мамы — новая керамическая коронка.

Железный Феликс смотрит на всех сверху своими белыми слепыми глазами и не знает, что здесь позорно одеваться хуже других, иметь не «Нокию», не раскладушку «Моторолу», а старый «Сименс». Позорно хотеть учиться, готовиться ко всем экзаменам, брать много книг в библиотеке, собираться поступать в вуз.

— Кроме высшего образования, нужно иметь среднее соображение, — выдает ей отец. — Работать пора идти. Я после семилетки пошел на завод, видишь, поднял семью, тебя выучил. Пора отдавать долги.

Позорно хотеть большего — поступить в медицинский или педагогический, стать врачом или учить детей. «Самая умная, что ли?» Позорно хотеть странного — отправиться путешествовать в Исландию на велосипеде, выкрасить волосы в синий, выучить корейский, стать вегетарианкой.

В восемнадцать, после окончания, ее берут в отдел по работе с несовершеннолетними.

— Ну куда еще тебя, — говорит кадровичка.

Марина, помня про архив, соглашается на все. Она ходит по неблагополучным семьям района, потом округа, разбирается с кражами в родной школе, ездит в колонии, сидит в судах, читает заявления и изучает личные дела. Иногда ее поднадзорные младше всего на год-два, они подкатывают, пытаются рассмешить, найти ее слабое место и разжалобить.

Она не умеет просить и принимать взятки, не приобретает профессиональную циничность и безразличие, ее тошнит от вида крови, от грязи, разбегающихся от включенного света тараканов, от запахов мочи и гниения в домах. Марина не умеет проводить допросы, верит всему и всем, начальник кричит, что ее красным дипломом милицейского колледжа можно подтереться, раздраженно добавляя: «Простота хуже воровства».

Когда она в форме едет в метро, с ней бояться знакомиться.

Вечерами и в выходные, когда Марина остается одна, она слышит тихий плач, похожий на мяуканье. Она вышивает картины по номерам крестиком, ее успокаивает, что все понятно, что ей дали схему, написали инструкцию, поставили на каждый моток ниток номер. Нервничать начинает, только когда нужный цвет ниток вдруг кончается: не доложили или ошиблись. Картина — ваза с цветами или лошади на лугу — не складывается, а нужного цвета в магазине штор по соседству может не быть. Прабабушка иногда садится рядом вязать, но постоянно сослепу теряет петли.

Когда Марина простужается, проведя на морозе пять минут без шапки или посидев на сквозняке, потом неделями отлеживается на антибиотиках. Ее медицинская карта в ведомственной поликлинике, как том Толстого. Чуть подует — у нее поднимается температура, чуть изменится погода — падает давление, начинается мигрень, если случайно съест просроченный творожок, — проводит неделю на хлебе и воде. На очередной диспансеризации ей говорят:

— Бесплодна. А нечего было на блядки ходить.

Иногда она ходит в клубы и бары — пьет до невменяемости, до незрячести, до ощущения невесомости в теле. Марина танцует, и перед ее глазами пляшут неоновые огни. Ее кто-то снимает — видит в ней кусок свежего мяса с дыркой. Наутро она старается не вспоминать об этом и никому не рассказывает.

Приехав на ночной вызов, Марина видит пятнадцатилетнюю девчонку и узнает ее: она учится в той же школе, а ее мать, воющая над телом мужа в комнате, — хозяйка магазина штор. Марина спрашивает, что произошло, девочка отвечает: толкнула, он ударился виском о железный набалдашник в изголовье кровати. Потом зачем-то сообщает, что кровать старая, привезли когда-то из деревни.

— Что он делал у тебя в комнате ночью?

Та объясняет.

Пока девчонка переодевается, Марина рассматривает ее живот, непропорционально большой при таких худых руках и ногах. Она закрывает дверь кухни, сама пишет показания и зачитывает их, проговаривая чуть ли не по слогам, как учительница в школе.

— Хотите варенья? — внезапно спрашивает девчонка, глядя куда-то в пространство. — Яблочного. Из белого налива, мама много закрутила.

Марина обходит соседей. Увидев в глазок ее форму и удостоверение, открывают неохотно, отвечают из-за двери, в глаза ей не смотрят. «Нет, не видели, не слышали, накануне были гости, но разошлись, еще одиннадцати не было».

— А дочь-то у них выросла красавица, сразу видно, не в мать пошла, да? — говорит бабушка-соседка с первого этажа и кидает быстрый взгляд на Марину.

Она выходит из дома и видит такой же двор, и соседний подъезд с несмываемым граффити, и даже такую же мусорку, как та, куда нельзя было выбрасывать полотенце. На детской площадке под грибком сидят подростки с пивом — Марина делает вид, что не замечает.

Она возвращается в отделение и пишет рапорт на увольнение.

Женя Декина

Баг

Рассказ

Таня любила только красивых. Соседа — чемпиона области по плаванию, молодого физрука, который тискал ее в раздевалке, учителя пения из ДК. А Денис был просто одноклассник в дутой куртке с сытым выражением лица. Он провожал до дома, задавал вопросы и много спорил. После школы Таня уехала, они год не общались, а потом он неожиданно пришел. Перевелся в областной центр из-за какой-то мутной истории — то ли подрался с кем-то, то ли должен был подражаться — Таня не вникала. Ей было не до того, она мечтала выйти замуж за аспиранта с их кафедры и думала только о том, как понравиться его маме. Денис предложил подарить будущей свекрови собственноручно связанные варежки или напечь пирогов. Таня ни того, ни другого не умела.

Когда он появился в следующий раз, Таня уже сама училась в аспирантуре. Денис рассказал, что все эти годы бурил нефтяные скважины на крайнем севере, копил на жилье. Посмотрел на ее руки без колец и аккуратно спросил о маме аспиранта. Таня с трудом ее вспомнила. На этот раз она была безнадежно влюблена в женатого профессора. Денис оказался тоже женат, жена была беременна. Он позвал в гости, сам понимая, что Таня, конечно же, не придет. Она и не пришла. Время от времени они встречались и гуляли по огромному парку за Таниным домом. Денис, как в детстве, покупал ей мороженое с шоколадной крошкой, а Таня жаловалась на жизнь.

Профессор был биохимиком с соседней кафедры. Студентки его обожали: он пошучивал и флиртовал. Когда у него случалась лекция в соседней аудитории, Таня открывала дверь кафедры и садилась поближе к выходу — послушать. Иногда ей удавалось подловить его в преподавательской столовой, и они вели долгие занимательные беседы. Тане нравился его ироничный тон и особенное спокойствие — он будто бы родился изначально правым и знал об этом.

— Любви нет, — говорил он, разламывая котлету вилкой. — Это инстинкт.

— Ну да, и предрассудки, — улыбалась Таня. — Скажите это какому-нибудь юному Вертеру.

— Могу научно обосновать, — он поднимал на нее хитрый взгляд. — Но вы этого не хотите. Вы барышня и верите в любовь.

Декина Евгения Викторовна родилась в 1984 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет по специальности «Современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звёздный билет» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 7.

— Хочу верить, — поправляла Таня.

— Ах да, вы уже отстрадали свое и в любви глубоко разочарованы.

Таня смеялась. Он приподнимал вверх не палец, как делают учителя, если ученик угадал правильный ответ, а вилку с кусочком котлеты. Он любил сочные пожарские, в одинаковых крупных сухариках.

— Ваш организм воспринимает мужчину только как партнера для продолжения рода. Вам нравятся те особи, генотип которых при скрещивании даст наилучший результат. То есть если доминантные гены партнера перекроют ваши рецессивные...

— Если я лысая, то мне нравятся волосатые, так? Или если я толстая, то мне нравятся худые?

Он засмеялся.

— Все гораздо тоньше, вы можете быть очень волосатой и любить еще более волосатого, но после сорока внезапно облысеете. Вы этого не знали, а организм знал. Он по запаху определил, что вот от этого будет здоровый, крепкий ребенок, а от этого — больной.

— То есть, если женщина выходит замуж не по любви, а из-за денег, то родится урод? И в случае изнасилования тоже?

Он расхохотался:

— Такими темпами мы с вами к десерту сверхновый завет напишем.

— Но это многое объясняет. И то, почему женщины рожают от альфа-особей, а растят потом с бета и гамма.

— Эта классификация научно не подтверждена. Что такое альфа-особь в современном мире? Илон Маск? Вассерман? Наш терпила-ректор? Или охранник дядя Вася, который лупит студентов?

— Правда лупит? — Таня не знала.

Дениса разговоры их крайне интересовали, он переспрашивал, уточнял, даже сходил к профессору на лекцию и перед уходом заглянул к Тане. Ничего не сказал, только кивнул значительно — будто одобрил.

На сына профессора Таня случайно налетела в коридоре и испугалась. Он был так ослепительно красив, что Таня даже не оробела — забыла, что можно стесняться. Она бесцеремонно разглядывала его, пока он жал ей руку и произносил «Максим» глубоким бархатным голосом, пока провожала на нужную кафедру, пока говорила, где еще может быть его отец. И после — как зачарованная пошла за ним в столовую, хотя у нее уже начиналась пара, присела поболтать. И смотрела, смотрела, смотрела.

Он казался ненастоящим. Черные с отливом волосы, персидский разрез глаз, капризный изгиб верхней губы и при этом жесткий, мужественный овал лица. На него оборачивались. С такими данными он запросто мог бы сниматься в рекламе или играть в кино. А он сидел тут, в обычной Таниной жизни, за столом, и его белоснежная накрахмаленная рубашка была в разы свежее скатерти. Или ей просто так казалось.

Было видно жилку на его шее, и Таня представляла, как в момент страсти целует его, и жилка пульсирует у нее на языке. Крепкие руки с красивыми аккуратными пальцами обнимают ее. Тело его, загорелое, здоровое, будоражило так сильно, что Таня уставилась ему в переносицу. Она поняла вдруг, почему мужчины так безотрывно смотрят в глаза красоткам с глубоким декольте. Иначе невозможно себя контролировать. Он встал за солью — и Таня подумала, что у него совершенно непристойные бедра, ей в каждом движении видятся толчки, и она уже чувствует под ладонью его круглый упругий зад с неглубокими ямочками. Хотелось погладить. Всего целиком. И это была не обычная похоть, но еще и что-то похожее на состояние детской очарованности взрослым, который кажется особенным и прекрасным во

Сергей Калашников

ЭХОЛОВ

* * *

я рождённый в пробирке довесок к бутылке,
перетянутый временем груз,
измеряю шагами длинноты глубинки,
будто помню советский союз.

плащ-палатки бродяг, поплавки рыболовов,
ради бога торговых ларьков.
человек-пароход без царя-рулевого,
эхолов эхолов эхолов

я прибитый к обоям пейзаж календарный —
год прошёл, через пять совпадёт.
никудашный рыбак, безобразный дневальный,
рота строится, рыба гниёт.

* * *

если подумать можно понять откуда
солнце выходит берутся дети играют скрипки
едут медведи синтезируется груда
неологизмов; школьные табуретки

стачиваются о классные метрономы
голуби по углам отыскивают мишени
чувство из детства кажется незнакомым
словно тарзанку набрасывают на шею

* * *

Товарищи идут по пилораме,
Лежит пластом скальпированный лес,
И облако у них над головами —
Взаимозаменяемый процесс.

Короче говоря, амбивалентность,
Прямой соединяются края.
Змея в саму себя переделась
И катится, короче говоря.

Дрожат в руках рабочих бензопилы,
Уборщики опилками шуршат.
Из мусороуборочной машины
Выходит бог и прибирает склад.

* * *

Искусство циклично, и цикл определим
Мальчик-троянец смеётся: «а конь-то полый»
В списке моих идей ни одной толковой
Бармен заходит в бар, я иду за ним

Двигается математиков строй несчётный
С целью одной второй и одной четвёртой
Знать знаменатель равен одной второй

В списке моих идей ни одной никчёмной
Я ведь в каком-то смысле и сам учёный
Вставший по стойке свой озаглавив строй

Песня — от алкогольной до апельсиновой.
Тешит над вурдалаками кол осиновый
Старое поколение упырей.

Ночь марширует к столикам, бар — резиновый
Очередь пахнет жидкостью керосиновой
Горько хоть лампы бей.

Алёна Жукова

Смертные грехи вещей

Притчи эпохи пандемии

Стулья (Гордыня)

Их было двенадцать. Хозяйка называла их венскими и хвасталась перед гостями: «Антиквариат... Михаэль Тонет, XIX век. Полный гарнитур...» Отца-производителя они не помнили. Вряд ли он собирал их своими руками — скорее всего, фабричные мастера выгибали под паром буковые палки, превращая их в гнутые ножки и овальные дуги спинок. Стулья были благодарны родителю за плодовитость. Уже несколько столетий их братья разного фасона и неизменного изящества украшали интерьеры домов, ресторанов и офисов. Эти двенадцать, отличавшиеся благородной матовостью дерева и золотистым шелком сидений, переходили из рук в руки два века кряду, сначала по родственным линиям, потом через перекупщиков. Стульям повезло — ничто не разрушило их семью: ни войны, ни смерти владельцев, ни проходящая мода... Последние сорок лет они провели в доме у Озера, а появились тут с легкой руки Хозяйки, для которой слово «венский» означало не пустой звук, а напоминание о родном городе. Они радовали ее, а вот Хозяину, напротив, не нравился их широченный хоровод вокруг дубового стола, доставшегося от прежних владельцев дома. В большом столе, как и в дюжине стульев, пока не было необходимости — их молодая семья была из двух человек, но Хозяйка настояла на своем. Она обожала принимать гостей.

Когда на аукционе антикварной мебели стулья заметили интерес к себе юной пары, то несказанно обрадовались. Им сразу понравилось, как стремительно садится и вскакивает легкая, словно стрекоза, женщина, как важно усаживается на них медлительный господин. Доводы Хозяина, что двенадцать стульев это много и они займут половину комнаты, были отвергнуты. Она не поскупилась и выиграла лот. Хозяин смирился. Он тогда еще очень любил свою молодую жену.

На первое Рождество в доме молодой четы собрались друзья. Их оказалось даже больше, чем стульев, но это не мешало веселиться. Стулья были слегка разочарованы:

Алёна Жукова (Жукова Ольга Григорьевна) — прозаик, сценарист, кинокритик. Автор ряда книг, в т.ч. «К чему снились яблоки Марине» (2010), «Дуэт для одиночества» (2011), «Тайный знак» (2016), «Странная женщина» (2017). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Торонто. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

кроме искусственной елки, величиной с детское ведерко, не было других украшений, а уж про красные банты и хвойные гирлянды, которыми их обычно украшали прежние хозяева, не было и речи... Вино лилось рекой, оставляя пятна на шелковой обивке, острые каблуки девиц царапали гнутые ножки, а изящные перекладки спинок покрывались желтым налетом от густого табачного дыма. Стулья страдали. До сих пор им не приходилось сталкиваться с таким непочтительным отношением к их статусу и родословной.

От полного разочарования жизнью в этой семье спасло появление первенца. Гостей поубавилось. Винные пятна и желтый налет были удалены, а девицы на острых каблуках растворились вместе с табачным дымом. Вместо них толстенький малыш, хватаясь липкими ладошками за ножки и сиденья, учился ходить, пуская слюни и сопли. Стульям это тоже не нравилось. Они чувствовали себя униженными и приходили в хорошее расположение духа только в дни праздников. Особенно ждали Рождества. Тогда весь дом преображался — сверкала огнями Ёлка, искрился хрусталь, а натертые Хозяйкой до блеска спинки и ножки стульев мерцали не хуже столового серебра. Нарядные люди рассаживались вокруг стола. Теперь гостям и членам семьи вполне хватало места: во главе сидели Хозяин и Хозяйка, по сторонам близкие друзья, дедушки и бабушки, а в конце стола — няня с ребенком. Ох, эта няня! Она сразу не понравилась стульям. Ее крепкие руки грубо переворачивали их по многу раз на день в поисках пропавших игрушек, а щетка, которой она орудовала, царапалась немилосердно. Ко всему этому — ужасные манеры! Когда никого не было дома, Няня усаживалась с ногами на стул, болтая по телефону или — хуже того — делая педикюр. Стулья вздрагивали, страшась кроваво-красной капли лака. Попади такая на них, пришлось бы смывать ацетоном! Однажды Няню за этим занятием застал Хозяин и вместо того, чтобы отругать, залюбовался голыми коленками, а потом их потрогал, а потом... Большого позора и унижения стулья не испытывали! Кровати и диваны к этому привыкли, но этим двоим нравилось садиться голыми задами на их упругие сиденья. Ни одного из стульев не миновала эта постыдная участь. Так продолжалось до тех пор, пока Хозяйка не поняла, что творится у нее под носом.

После развода ей достались дом и сын, что совсем не мало, и даже ее любимая венская дюжина в придачу... Правда, она перестала зазывать к себе гостей. Место большого дубового стола занял небольшой раскладной уродец из дешевого магазина современной мебели. Стоять вокруг такого стулья считали ниже своего достоинства. Перед Рождеством пошел слух, что их продадут. Они возмутились: «Как можно продавать единственно красивое и ценное, что есть в доме!» Стулья недовольно поскрипывали, а Хозяйка их гладила, любовно смазывая винтики машинным маслом. Не продала, но разлучила! Такого не случалось с ними с момента рождения. Оставив шесть братьев в гостиной, решила, что этого достаточно: стул для себя, для малыша, два стула для родителей, подруги и один на случай появления гостя. Этот особенный гость должен был обязательно когда-нибудь прийти и остаться в доме, но он все никак не появлялся, а стулья томились в разлуке — кто в спальне, кто в детской, кто на веранде и в кабинете...

Они уже не верили, что когда-нибудь опять соберутся вместе, но наступило очередное Рождество. В этот раз оказалось шести стульев маловато: у подруги появился муж, а у сына подружка. Когда все расселись, в дверь постучали. За порогом стояли трое: мужчина в армейской форме и два подростка — мальчик и девочка. Отец

и двое детей направлялись встретить Рождество с родителями покойной жены, но сбились с пути, машина застряла в снегу у Озера...

В тот Рождественский вечер стулья, наконец, воссоединились, а гость и его дети остались в доме навсегда. Очень скоро гость превратился в мужа и купил большой стол, похожий на прежний дубовый, но не овальный, а прямоугольный. Новый муж любил прямые углы и решения. «Солдафон! — презрительно отзывались о нем стулья. — Строит нас, как своих курсантов на плацу, да еще следит, чтобы ни на сантиметр не сдвинулись. Невыносимо!» Они мечтали о красивой жизни, о том, что повзрослеют наконец надоедливые подростки и разбегутся по свету, а старики-родители с их палками и ходунками уйдут на вечный покой; солдафон-муж уедет на службу и останется в доме одна Хозяйка. Они будут встречать Рождество только с ней при свечах и под музыку Венского оркестра...

Все случилось почти так, как им хотелось: взрослые дети разъехались по разным странам; родители умерли; подруга предала, а муж пропал на войне, которая началась сразу после пандемии. Три года мир погружался во мрак и холод, а в доме у Озера еще теплилась жизнь. Хозяйка топила камин остатками мебели. В Рождественскую ночь догорал последний венский стул...

Тапки (Зависть)

Они лежали под Ёлкой в коробке, перевязанной атласной лентой, и выглядели, как пара пушистых белых зайцев с розовыми ушами и носами. Даже без открытки было понятно, что это папин подарок. Он очень любил дочь: называл ее сладким Зайцем, зацеловывал от макушки до пяточек, а теперь, когда выросла и навещала родителей исключительно по праздникам, продолжал дарить мягкие игрушки. Теперь вот эти тапочки...

Мамин подарок — скороварка — являл собой верх практичности и сопровождался банальностями, вроде: «Путь к сердцу мужчины...» Оставалось найти этого мужчину, а с этим у Зайки имелись проблемы.

Вернувшись домой, Зайка обозвала тапки пошлятиной и засунула на обувную полку в дальний темный угол, забыв об их существовании.

Рядом с ними на полке обитали пары разных фасонов и породы. Среди них попадались детища знаменитых брендов, которые на взгляд тапочек, ничем особым не отличались, но все они — именитые и не очень — были прекрасны: лодочки, шпильки, ботильоны, сапожки... Мохнатым тапкам не давал покоя блеск лакированных носов, замшевая мягкость ушек, острая тонкость каблучков. Как им хотелось быть на их месте и вести разгульную жизнь! Несправедливо, когда одним все, а другим пыль и забвение. Их розовые уши и носы посерели, мягкая подошва скукожилась. Они уже не выглядели милыми: нитки, которыми были сшиты, полезли наружу и напоминали червяков. Только и оставалось, что проклинать судьбу и хозяйку, которая их не замечала. Она имела обыкновение скидывать обувь у порога и шлепать босиком по квартире. Утром уходила, а поздно вечером возвращалась, чтобы переночевать, а с утра опять упорхнуть в очередной шикарной паре обуви. Так продолжалось долго и могло довести тапки до полного обветшания, но что-то изменилось в мире. Первыми почувствовали это лабутены. Они простояли невостребованными неделю, потом две, даже через месяц

к ним никто не притронулся. Алые языки подошв полыхнули яростью: «Предательница! Изменяет нам с дворняжками-кроссовками! Где шик, где вечеринки, выставки, концерты? Куда все делось?» Им, конечно, было неведомо, что Зайка, как все жители города и страны, да что там страны — всего мира! — выходила из дому только за едой и на пробежку. Даже работать приходилось не отходя от компьютера и не вылезая из пижамы.

Вот тут-то и должен был наступить «тапочковый» звездный час, но...

Ах, почему они себя не берегли!

Зайка, вспомнив, что у нее есть то, чему сейчас самое время, заглянула в шкаф. Порывшись, отыскала на полке с обувью слежавшиеся пушистые комочки. Тапки выглядели ужасно и буквально рассыпались в руках. Фыркнув: «Китайская дешевка!» — сунула в черный пакет, чтобы вынести на помойку. Они прижались друг к другу в темноте, охваченные душным паническим страхом, как вдруг сверху брызнул свет и полилось что-то соленое и горькое.

Зайка сидела над развязанным пакетом и рыдала, обливая слезами папин подарок. Ей только что позвонили из больницы и сообщили, что отец умер на второй день после подключения к аппарату ИВЛ. Она стряхнула с тапочек пыль, взяла иголку с ниткой и пришила отвалившиеся ухо и подметку.

После похорон тапки уже не снимала. Они держались из последних сил и мечтали об отдыхе. Как им могло не нравиться тихое, спокойное существование в темном углу? Зачем стремились к бурной жизни и хотели быть у всех на виду? Это так утомительно!

Прошли зима, лето, осень... Казалось, что уже никогда не вернется прежняя жизнь, но счастливый день наступил: Зайка сняла тапочки, бросилась к обувной полке и надела заскучавшие лабутены. Она торопилась на большую вечеринку по случаю окончания карантина. Тапки облегченно выдохнули. Им навсегда расхотелось быть на чужом месте. Тут бы на своем уцелеть...

Дверь (Гнев)

Они сразу невзлюбили друг друга — дверь и жена. При первой же встрече старая дверь в загородном доме и молодая хозяйка столкнулись лоб в лоб. Дверь спокойно прожила больше полувека с прежними хозяевами, но они заболели и умерли один за другим. Их дети жили возле теплого океана и не нуждались в даче у холодного озера.

Немолодой солидный господин долго приценивался к одноэтажному коттеджу, а его жена с порога заявила, что нужен ремонт и замена буквально всего, но в первую очередь — двери в кабинет. Стукнув по ней ладошкой, скривилась от боли. Сквозь ржаво-коричневую краску просвечивала металлическая обивка. Дверь была бронированной и напоминала те, что ставят в складских помещениях, опасаясь грабителей.

— Пойми! — не соглашался муж. — Она единственная, за которой можно спрятаться или что-то спрятать. Хозяин тут хранил оружие. Охотником был.

— Но ты же не охотник, а писатель! — фыркала жена. — Твои книги не выстреливают на миллионы. Что тебе прятать?

Дверь угрожающе скрипела. Муж пытался придержать ее, входя в кабинет, но она, как назло, захлопывалась с грохотом. Тут же раздавался вопль: «Да когда ж это

кончится! Поменяй, слышишь! Я требую!» Слушая их перепалки, дверь думала, что лучше бы писатель заменил жену — сегодня она требует одно, завтра другое... Только за железной спиной двери будет ему покой и радость.

Приближался Новый год. Встречать собирались узким кругом, не нарушая правил карантина. Другим хотелось вырваться из города, посмотреть дом, погулять у озера... Жена поставила условие — никаких гостей, пока стоит на месте эта ржавая уродина, и если муж хочет сделать новогодний подарок, то лучшим будет новая дверь.

Такого поворота он не ожидал — в глубине души надеялся, что жена остынет. За дверью он чувствовал себя, как за каменной стеной — просто так не войдешь: замочек, ключик... Охраняя его творческий покой, дверь поглощала звуки: тушировала назойливое бормотание телевизора, глушила телефонные звонки, раздражающие скрипы и шорохи. Жена заявила, что ей лишний раз не хочется подходить к кабинету и пробегала мимо не задерживаясь.

Сначала его письменный стол стоял у решетчатого окна, но потом развернулся к двери: заоконная птичья жизнь утомляла, а рисунок облупившейся краски настраивал на философский лад. Давно ему так не писалось! Надо было придумать, как погасить конфликт, и он решил вызвать мастера. Менять ничего не собирался — просто придать двери приемлемый вид. Можно было обить шпоном под красное дерево, поставить механизм доводки, чтобы не хлопала...

Оказалось, что сделать это не просто — многие фирмы обанкротились из-за упадка строительства во время пандемии, а те, что выжили, ушли раньше времени на рождественские и новогодние каникулы. Менеджер предупредил, что прием заказов на этот год заканчивается завтра, каталог в интернете прилагается... Узнав, что речь идет о спецзаказе и нужна реставрация, предложил приехать, поговорить с мастерами, может, кто и возьмется, а о цене лучше договариваться на месте. Он решил не откладывать поездку и предупредил жену, что задержится на пару дней.

— А точнее можно? — она неохотно отвлеклась от болтовни по телефону. — Я не намерена торчать тут в одиночестве.

— Поехали со мной, если хочешь, — кисло предложил писатель. — Но учти, кроме двери, у меня еще в издательстве дела...

— Вот еще! Я лучше прошвырнусь по фермерским рынкам. Только очень прошу, не надо мне по сто раз на день звонить! Это раздражает.

— Да я вообще могу тебе не звонить, если на то пошло. Еду только ради тебя.

— Ну не злись. Ты ведь за подарком для меня...

— Это никакой не подарок. Настоящий получишь под елку. Он уже тебя дожидается, а мне бы мастера найти и уговорить...

Как только муж вышел за порог, жена отворила дверь в кабинет. Дверь за ее спиной тихонько захлопнулась, словно боялась спугнуть. Обшарив ящики стола, книжный шкаф, сейф, в котором прежний хозяин держал ружья, жена огорчилась — ничего, похожего на подарок, не нашлось, а воображение, тем временем, рисовало волшебную картинку непременно алой бархатной коробочки, на дне которой блестел и переливался, как елочная гирлянда, бриллиантовый браслет. В конце разочаровавшись, она направилась к выходу. Дернув за ручку, удивилась — дверь не поддавалась. Порывшись в карманах, вспомнила, что ключ остался в замке с той стороны. После получаса дерганья и рывков сдалась. Надо было искать помощь. Психанув, заехала по двери ногой. Дверь глухо ухнула, а нога заныла. Под ложечкой тоже заныло от мысли, что

позвонить не получится: мобильный остался в спальне, а городской не установили — хозяин не любил телефонов и вздрагивал при каждом звонке. Она подошла к окну, глянула с тоской через решетку на пустую проселочную дорогу: не вылезти отсюда, не докричаться, домов поблизости не видать — только лес, да озеро...

Ситуация выходила из под контроля. Она знала по опыту, что означают обещанные несколько дней, когда муж зависает в издательстве. Он забывает обо всем. Может и через неделю вернуться. До Нового года как раз неделя. Представив, что она тут просидит неизвестно сколько без еды, воды и туалета, закричала: «Сука!», набросившись на дверь с кулаками. В ответ на оскорбление из дверного нутра послышался зловещий скрежет. Она обернулась к письменному столу — там должен быть мужнин лэптоп, а значит есть связь через интернет... Черт! Он забрал его с собой. Выходит, что она отрезана от всего мира! Проклятая дверь!

Где-то в глубине дома послышался звонок мобильного. Отчаяние нарастало. Схватив с письменного стола подставку с карандашами, она села на пол и заглянула в замочную скважину. Там торчал ключ. Попыталась вытолкнуть его, сунув в скважину карандаш. Он с хрустом сломался, застряв намертво. Собрав слюну, в ярости плюнула на дверь и тут же почувствовала, что рот пересох и очень хочется пить. Обведя взглядом кабинет, поняла всю безвыходность ситуации: кроме полок с книгами, стола с настольной лампой, вертящегося кресла да старого проигрывателя прежних хозяев, в кабинете ничего не было — даже захудалого диванчика или ковра. Не было горшка с цветами, который бы очень пригодился, теплого пледа... От страха она завывала. Птица, сидевшая на оконной решетке, в испуге упорхнула, тревожно чирикавая. Если бы кто-то понимал птичий язык, то наверняка пришел бы на помощь, но увы...

Муж вернулся накануне Нового года. Ему удалось найти мастера, уладить все дела с новой книгой. За день до возвращения он, наконец, решился позвонить жене, хотя она и просила этого не делать. Новая жена — новые капризы. Телефон молчал и был переполнен сообщениями. Свое он так и не смог оставить. Занервничав, заплатил мастеру двойную цену и уговорил срочно выехать. Через два часа они были на месте.

Жены нигде не было. Из-за двери кабинета доносились невнятные звуки, как если бы кто-то мучал кошку или пытался спеть оперную арию, не имея ни слуха, ни голоса. Муж рванул дверь, она не поддалась. Торчащий в скважине ключ не проворачивался, а на его крики жена не отвечала. Мастер предложил взломать, но предупредил, что придется ставить новую дверь. Он долго мучился: в ход пошли домкрат и болгарка. Когда дверь была раскурочена, им в нос ударила вонь, а в уши какофония звуков. Пол был загажен, на проигрывателе крутилась пластинка, а на подоконнике сидела жена. Она в полный голос подвывала «Аиде» и синими от холода пальцами отковыривала снег с решетки, жадно запихивая в рот. Завидя мужа, затряслась от злобы, обвиняя его во всех смертных грехах, а двери показала средний палец: «Не верила? Получай сволочь! Теперь тебе крышка!»

В стоне и скрежете израненных петель можно было расслышать: «Ненавижу!»

Дверь пришлось заменить, а через какое-то время и жену тоже...

Обыденная виртуальность

Размышления белгородских школьников

В ноябрьском номере 2019 года мы опубликовали сочинения наших постоянных авторов — белгородских школьников: «Моя мечта — это нескончаемое количество мечт». Уже сам заголовок наглядно фиксировал их отношения с настоящим и будущим. Перед ними раскрывался мир заманчивых вещей, привлекательных занятий, ослепительных возможностей.

2020-й посадил мечты на карантин. В его уже самые последние, декабрьские дни мы попросили выпускников гимназии № 3 г.Белгорода рассказать о том, как этот коронавирусный год изменил их жизнь, их представления о мире, планы и мечты.

Ирина Гермаш, 11а класс

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» — именно эти слова, произнесенные голосом Иосифа Бродского, прозвучали в моей голове, когда в нашей стране был объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией. Звуки и буквы вторглись в мое сознание, отзвучев тревожным маршем, и до сих пор иногда шепот вьющейся фразы шелестит в мыслях. Все мои действия, чувства и убеждения в настоящем так или иначе переплетаются с событиями прошедшей весны, посеявшей в сердцах людей страх, сомнения и превратившей все их мечты в осколки. На удивление, сказать, что год прошел не так, как мне бы хотелось, я не могу. Заточение или свобода? Такой вопрос озадачил меня во время уже привычного пролистывания новостных лент. Озадачил он не только меня: миллионы россиян были ошеломлены новостью о карантине и оплакивали собственные планы и цели на год. Я же восприняла эти события как шанс понять себя, а именно: свои истинные желания, интересы и реальные возможности. Да, в физическом отношении я была ограничена стенами дома, но с моральной точки зрения я обрела полную свободу. Уходящий год в буквальном смысле подарил мне путевку в будущее. Проведя несколько месяцев на самоизоляции, я осознала, что самым главным ресурсом в нашей жизни является время, и впервые почувствовала свою власть над ним. За время пандемии я увлеклась таким видом творчества, как фотография. Ограниченная четырьмя стенами и соседним двором, я научилась видеть красоту во всем, создавать искусство из ничего. Умение радоваться мелочам — вот чего мне так не хватало, однако цель перед собой я ставлю большую: поступление в университет и финансовая независимость от родителей. Теперь я наверняка могу сказать, что считаю себя счастливым человеком и надеюсь пронести это счастье через всю жизнь.

Орфография и пунктуация авторские.

София Тищенко, 11б класс

2020 год — год Белой Крысы. И ведь действительно мы, словно крысы, сидели в норках, таскали еду домой и там ее грызли, заметив человека — прятались, были переносчиками инфекции. Очень говоряще-символичная параллель.

Все началось в далеком, для некоторых мышеподобных людей, марте. Я, как и многие школьники, училась, и ничего не предвещало неприятностей. Подходила к концу самая долгая и стрессовая третья четверть, мы все с нетерпением ждали каникул, чтобы развлекаться и с новыми силами завершить полугодие. Вдруг в беседу 11 «Б» класса приходит то самое, как нам поначалу казалось, радостное сообщение: «Дети, в связи со сложившейся ситуацией в стране мы выходим на каникулы чуть-чуть раньше». Ходили какие-то слухи про новый опасный вирус, но мы не придавали этому значения. Нашей радости не было предела: какая там учеба, если каникулы на пару дней раньше?! Но счастье длилось недолго. Когда объявили массовую самоизоляцию, все подростки начали судорожно переписываться с друзьями и обсуждать последние неприятные новости. Когда все наши прогулки, походы в кино и кафе сменились на ношение масок в общественных местах, использование антисептиков на каждом шагу и задерживание дыхания при мимо проходящем человеке — мы не на шутку испугались. Жизнь действительно приобрела другой вид. Но тут есть две стороны одной медали: первая — общение с друзьями стало еще более виртуальным, но мы выкручивались, как могли: смотрели фильмы в общем чате, с обсуждениями каждой детали, групповые видеоконференции на 5—10 человек с рассказами новостей. Мы очень хотели воссоздать ту самую атмосферу, которая была ранее. Вторая — семьи стали проводить времени вместе намного больше. На моем примере могу сказать только то, что мои родные стали еще ближе друг к другу, и это не может не радовать.

Самое страшное во всей этой ситуации было то, что когда я открывала статистику, там, даже при особом контроле, цифры смертей только увеличивались. В этот момент меня охватил страх, и холод пробежал по спине. Я молилась только об одном: пусть лучше я, чем мои близкие. Мне в такие моменты хотелось действительно подписать какой-то договор, чтобы со мной делали что хотели, но родных не трогали.

Я хочу сравнить это с какой-то войной, в которой у людей явно мало шансов. Лицом к лицу с опасностью стояли ангелы, по совместительству врачи, и супермощный демон — вирус. Борьба не то, чтобы не равная (здесь изначально видно, кто ведет). Страх, отражавшийся в глазах врачей, действительно забирал все шансы, но они не сдавались и не сдаются до сих пор. Они нам дают некую надежду на победу. Демон забрал к себе в иной мир миллионы людей, но мог бы забрать больше, если бы не они — наши спасители, спасатели, исцелители.

Для меня это очень страшная тема для обсуждения, потому что еще не конец и никто не знает, что будет завтра и какие «сюрпризы» еще подкинет жизнь.

Артем Фучиж, 11а класс

Коронавирус подкрался незаметно и вскоре стал неотъемлемой частью жизни. Вот уже год, как он обитает скрытой угрозой где-то поблизости: на невымытых руках, в чьем-то нечаянном кашле — в общем, достаточно причин для паранойи.

На дворе был февраль, и новости о коронавирусе только начинали появляться. Тогда я был совершенно чужим в Москве, с рюкзаком за спиной, так как приехал писать очередную олимпиаду. Кажется, впервые за свою жизнь я надел маску и, вполне возможно, был такой один на целую столицу.

Но время не стояло на месте. Новости становились все громче. И вот уже каждый поодиночке у себя дома (но на самом деле вместе — всем миром) помогал друг другу самоизоляцией, как мог останавливал движение пандемии.

Вот уже год, как маска стала самым важным аксессуаром, как запах антисептика и хлорки стал гарантом безопасности. Вот уже год, как виртуальность современного мира стала намного реальнее и обыденнее.

Вот уже год, как вылазки в реальность необычны и ощущаются, как сон. Такими вылазками для меня стали поездки в «Сириус» и в «Артек». Огороженная территория, ежедневные замеры температуры — сразу и не узнаешь места, в которых был в прежние, нечумное время. Но вскоре оказывается, что главное не изменилось. Что ни перчатки, ни маска, ни дистанция в полтора метра не смогут помешать новым знакомствам и новым эмоциям.

И все же с опасением смотришь на дистанционное обучение нынешних студентов. И, кажется, не столь хочешь виртуальной Москвы, да и, по правде сказать, скучаешь по более частым конкурсным поездкам. Но нужно мужаться: 2020 год приучил нас к тому, что изменения неизбежны, показал, что в будущее можно прийти только сообща.

И не то что бы с недоверием, а с неподдельным интересом смотришь в будущее. И вроде странно, и вроде мир стал другим. Но, кажется, ничего по-настоящему не меняется. Коронавирус — коронавирусом, мечты — мечтами. Начали бы только кино снимать.

Анастасия Демещенко, 11б класс

Сначала вирус не дает о себе знать, он проникает во все слои общества, перед ним все равны. Затем он начинает встраивать свои ядовитые планы в наши. Остановить его возможно, если избегать встречи с ним. Но это почти нереально с такими темпами жизни. Приходится их снижать: сидеть дома, переносить встречи, обесценивать время, приспосабливаться к новым условиям существования. Вирус, как война, наступает внезапно, а врачей, как стойких солдатиков, отправляют на фронт. Жизнь каждого из нас становится другой. Тот путь, который мы наметили на год, становится лабиринтом. Нужно искать выходы, и мы, принадлежащие к виду *Homo sapiens*, начинаем это делать.

Изменив наши ближайшие планы, вирус начинает расселять неуверенность в завтрашнем дне, в следующей неделе... Он диктует нам новые законы и правила, чтобы выжить. Мы больше не видим людей, а если видим, то только глаза. Мы не приходим так же часто, как раньше, к близким и родным, чтобы сберечь их здоровье. Мы начинаем ценить очень многое, что раньше казалось нам возобновляемым. Мы как будто быстрее взрослеем. На нас возлагается большая ответственность. Ответственность за близких, за себя, за свои дела и жизнь. Вчерашние проблемы уже не кажутся такими сложными. Происходит встряска человека. Он перезагружается и становится более опытным.

Именно так произошло и со мной. Мои мечты и планы остались в целостности. Но вижу я теперь их в другом и по-другому. Теперь «здоровый» — это уже «счастливый». Звучит грустно.

Даже когда меняются планы, цели и мечты остаются верными нам. Но о них принято молчать, спросите меня через год, и я отвечу, осуществилась ли моя мечта. А в планах как было написано: «Сворачивать горы», — так и остается. Только какой я выберу для этого лабиринт, не зная, что будет завтра, остается вопросом. Это,

наверное, самое страшное... Как можно не быть уверенным в завтрашнем дне... Жить импровизированно, если что-то меняется. Это оказалось сложным. Когда кто-то вышестоящий говорит точные даты экзамена, ты все равно понимаешь, что эта точность равна нулю. Но не гадать же на кофейной гуще... Поэтому остается только жить и ждать неожиданных поворотов, к которым нужно быть готовым. Надеяться на долгожданный всеми выпускной, на торжественную церемонию, на прекрасное и запоминающееся лето. Мы все хотим прочувствовать этот момент так же, как и наши родители, ведь жить их рассказами мы не можем... Но никто не уверен в том, что это случится.

Максим Кабачный, 11б класс

Пандемия, рухнувшая на нас в начале этого года, не прошла незамеченной. Она серьезно ударила по многим сферам общества в современном мире. Некоторые, как когда-то казалось, фундаментальные понятия рухнули, оставив после себя благодатную почву для дальнейших размышлений. Так по истечении нескольких месяцев, проведенных дома, я разочаровался в себе, так как оказалось, что я не читаю различную литературу не из-за нехватки времени, разочаровался в некоторых людях, которые обвиняли врачей, санитаров в профнепригодности, в безразличии к сложившейся ситуации, в бездействии. Однако, благодаря волонтерам, которые, учась в медицинских вузах, шли в больницы, в которых не хватало рабочих рук, благодаря студентам, которые, не оставляя надежд в будущем стать хирургом, в домашних условиях проводили сложнейшие операции по смене слегка сгнившей кожуры банана, благодаря людям, которые понимали, какой вклад вносят врачи в победу над этим вирусом, я еще больше убедился, что хочу связать свое будущее с медициной. И не важно, будет ли мой труд оценен по достоинству, или же очередные диванные критики меня обложат различными оскорблениями, главное, что лично я буду понимать, что, возможно, спас кому-то жизнь.

Александр Ковалев, 11б класс

С января двадцатого года весь мир подвержен панике. А все из-за того, что известные человечеству 43 типа коронавирусов начали терроризировать нашу планету. Что я об этом думаю? Я предполагаю, что вирус выведен синтетическим путем, а виной этому — политические условия. Это невероятный план по разрушению экономики. Не будем углубляться в подробности политической и экономической жизни, но такую теорию нужно было озвучить. Джим Керри, американский актер кино и телевидения, великолепно высказался по поводу этой ситуации: «Вирус доказал, что всем миром можно легко манипулировать через страх, просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину».

Как изменилась моя жизнь? Я склоняюсь к варианту, что никак. Да, надеваю маску перед тем, как зайти в магазин или торговый центр, да, моя семья и некоторые знакомые переболели этой гадостью, но я считаю себя реалистом. Всегда говорю о том, что это ерунда — обычное ОРВИ с определенными осложнениями.

И это все делает меня еще более приближенным к реальности. Теперь вряд ли я буду мечтать о какой-нибудь авантюрной поездке за границу. Отныне буду знать о том, что финансовая подушка безопасности должна быть еще толще, мало ли что? Может быть, завтра какой-нибудь китаец съест не летучую мышь, а целого крокодила, весь мир будет изолирован, без работы, а наше государство и дальше будет бездействовать.

Минская инициатива

СТУДИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
«ШКЕРЕБЕРТЬ»

«Крык бінтую маўчаннем лістоў»

Участники студии сравнительного поэтического перевода «ШКЕРЕБЕРТЬ» представляют переводы на русский язык подборку стихотворений молодой белорусской поэтессы Насты Кудасовой, которые впервые выходят на страницах «Дружбы народов», продолжая ряд публикаций замечательных белорусских поэтов Михася Стрельцова, Андрея Хадановича и Марийки Мартысевич.

Галина КЛИМОВА

Наста Кудасова

* * *

Неба зрываецца долу — блакітныя коні
ў яблыках белых аблокаў
скубуць пахкі вецер...
Я прысвячаю табе маё ўсё —
маё сёння:
без-цябе-вуліцаў мыліцы,
памяці шчэцце...
Я прысвячаю табе будняў дробнае проса.
Мне ж — сотні жыццяў стаяць на зямным падаконні,
слухаючы,
як зрываюцца долу нябёсы —
ў яблыках белых аблокаў блакітныя коні...

Дмитрий Артис

Долу срываюцца неба лазурныя коні
в яблоках белых, как облако,
вытоптать ветер...
Я посвящу тебе всё моё —
только сегодня:
без-тебя-улиц прогульщица,
память не светит...
Я посвящу тебе зёрна дроблёные будней.
Мне — сотню жизней вставать на земной подоконник,
слушая небо, летящее долу, как будто
в яблоках облака скачут лазурные кони...

Евгения Джен Баранова

Небо срывается вниз — голубые кобылы
в белых яблоках облаков
щиплют духмяный ветер...
Я отдам тебе всё, что есть
у меня сегодня:
без тебя ковыляют улицы,
память щетиной колет...
Я отдам тебе всё — мелкое просо будней.
И останусь стоять
на земном подоконнике
сотню жизней,
вслушиваясь,
как несутся к земле небеса —
в белых яблоках облаков
голубые кобылы.

Анна Маркина

Небо срывается вниз — и лазурные кони
в облачных яблоках белых
пасутся на ветре
всё я тебе посвящаю, тебе —
всё сегодня:
без-тебя-улицы тросточка,
памяти ветка...
Я посвящаю тебе будней дробное просо.
Мне ж остаётся сто жизней, земной подоконник,
слушать,
как сходят на тёмную землю белёсо
в яблоках облачных неба лазурные кони...

Ольга Сульчинская

Небо на землю срывается — синие кони
в облачных яблоках белых
из упряжи рвутся...
Я посвящу тебе всё,
что имею сегодня:
без-тебя-улицы старицу,
памяти русло...
Я посвящу тебе будни на бедной мякине.
Мне же — сто жизней прождать, чтоб заполнило склоны
дрождью тяжёлой
и ветром повеяло синим —
в облачных яблоках белых небесные кони...

Наста Кудасова

* * *

Сівому туману вычэсвай густую поўсьць,
пакуль захліпаецца вечар самотай воўчай.
Я ведаю, тут у кожнага хтосьці ёсць,
каб грэць у далонях далонь і ўглядацца ў вочы.

Не мрой жа, такіх у шчаслівыя не бяруць,
ты — цень ад крыла, ты не варты нічога, нічога!
Але ёсць дарога дамоў, ёсць Дняпро і Друць,
ёсць пацёрка поўні ў блакітнай руцэ Рагачова...

І можна яшчэ басанож увайсці ў лугі,
пяшчоту запхнуўшы глыбей, каб не рвала скуру,
ды слухаць, як лета пяе свой адвечны гімн
і верыць сабе, не зважаючы на партытуру.

Евгения Джен Баранова

Седому туману вычэсывай волчыю шерсть,
покуда заходится вечер в печальном танце.
Я понимаю, у каждого кто-то есть,
чтобы ладони согреть и в глазах купаться.

Не сомневайся, в счастливые не возьмут,
ты тень от крыла — и ничего такого!
Но всё-таки будет Днепр, и дом, и Друг,
и бусина полночи в пальцах у Рогачёва.

И всё ещё можно босому зайти в луга,
песчинку загнав поглубже под волчью шкуру,
и слышать, как лето несёт комариный гам
и верит себе, не слушаясь партитуры.

Наста Кудасова

* * *

Крык бінтую маўчаннем лістоў
і живу —
найспавіцейшай з мумій.
Гэта я — твой адданы ніхто!
Гэта я па табе сумую
так,
што лета,
сарваўшы ланцуг,
збегла прэч ад нуды каляндарнай,
і цяпер у нас ёсць толькі цуд,
і дай Бог,
каб
не марны.

Дмитрий Артис

Забінтую свой крык в эсэмэс
и, как мумия, дальше живу я.
Это я — твой пустой интерес!
Это я по тебе тоскую,
так,
что лето,
как лопасть винта
отрывается, вдаль улетаю,
остаётся мне только мечта,
и дай Бог,
не
пустая.

Инга Кузнецова

Крик бинтую молчанием строк
и живу —
неподвижнейшей мумией.
Это я — твой обет и зарок,
Твой никто. Я тоска и безумие.
Даже
лето,
сорвавшись с цепи,
убежало от дней беспросветных.
И лишь чудо ждёт нас в степи,
и дай Бог,
чтоб
не тщетно.

Яна-Марія Курмангалина

Крик бинтую строкой с листа
существую —
живейшей из мумий.
Это я — твоя пустота!
Это я по тебе тоскую,
так,
что прочь
из своей тюрьмы
убежала от всех пересудов,
в мир, в котором есть только мы,
только лето
и только
чудо.

Наста Кудасова

* * *

туды, дзе глог і мята на сталё,
дзе грэюць нас
цюлені цэпелінаў,
дзе мы жывём, не ўмеючы сталець,
нікому і нічога не павінны,
дзе летні дождж
па вулках Летувы,
зацалаваных нашым спрытным крокам,
выстуквае “жывы, жывы, жывы!” —
дождж,
зразумелы нам на ўсіх гаворках...
туды!
туды, да шчаснае пары,
дзе ўсё крычыць аб нашай маладосці,
дзе мы — жывём,
дзе мы — гаспадары,
дзе нават смерць здаецца толькі госцем...

Дмитрий Артис

где ягоды и мята на столе,
где греют нас
тюлени цепелинов,
где мы живём, не думая взростеть,
ни перед кем ни разу не повинны,
где летний дождь
по улицам Литвы —
проворными шагами на проспектах —

выстукивал «живи, живи, живи!» —
на разных языках
и диалектах...
туда!
туда, до радостных времён,
где всё кричит о юности и росте,
где мы — живём,
где жили — испокон,
где даже смерть окажется лишь гостем.

Инга Кузнецова

туда, где тмин и мята на столе,
где греют нас
тюлени цепеллинов,
где мы живём, не думая стареть,
ни перед кем ни в чём так неповинны,
где летний дождь
на улочках Литвы,
заласканный неслышной нашей встречей,
выстукивает: «живы, живы вы!» —
дождь,
что понятен нам на всех наречьях...
туда!
где счастья веселящий газ,
где всё кричит о юности пригожей,
где мы живём,
где город любит нас,
где даже смерть — лишь робкий гость в прихожей...

Ольга Сульчинская

туда, где хмель и мята на столе
и тёплый хлеб
на скатерти разложен,
где мы живём и незачем стареть,
и никому никто из нас не должен.
где летний дождь
по улицам Литвы
гуляет с нами при любой погоде,
«живём, живём!» — стучит по мостовым,
нисколько
не нуждаясь в переводе...
Туда!
туда, в счастливые года,
где всё кричит про молодость и радость,
своей судьбе
мы сами — господа,
а смерть — приезжий, потерявший адрес...

Наста Кудасова

* * *

У спадзеве на бераг
мы мкнулі да рэк,
а яны —
адалі нас мору.
Я люблю цябе так,
быццам сотнямі стрэмак
імя тваё ўбілі мне ў горла,
быццам хлынула ўсё, што пад скурай гуло,
і сарвала карузную гаць,
быццам нехта знаёмы
настырным крылом
загадаў мне
кахаць.

Инга Кузнецова

В надежде на берег
мы льнули к воде,
а реки
нас вынесли в море.
Я люблю тебя так,
будто сотни гвоздей
вбили имя твоё в горло-горе,
будто хлынуло всё, что под кожей спало,
чтобы дряхлую гать затопить,
будто кто-то знакомый
упрямым крылом
указал мне
любить.

Яна-Мария Курмангалина

Шли к иным сторонам
по речным по волнам,
но —
к безбрежным морям
привели нас скитанья.
Мне не выдохнуть слов,
будто сотней штыков
твое имя убито в гортани.
Будто хлынуло всё,
что по венам текло,
было бережно в сердце хранимо.
Будто некто ко мне
прикоснувшись крылом
загадал,
что я буду любима.

Ольга Сульчинская

Мы мечтали пристать
к берегам, но реке
не терпелось
нас вынести в море.
Твоё имя звенит
не струной вдалеке,
а стрелой в моём раненом горле.
«Я люблю тебя» кровью стучится в виски,
Тянет болью подвздошных глубин.
Будто кто-то, махнувший
крылом колдовским,
приказал мне:
«Люби!»

Анна Маркина

И в надежде на берег
достигли мы рек,
а они —
отдали нас морю.
Я люблю тебя так,
будто сотнями стрел
твоё имя вогнали мне в горло,
будто хлынуло всё, что под кожей плыло,
заскорузлой гати не быть,
будто кто-то знакомый
настырным крылом
указал мне
любить.

О массовом искусстве

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Благодарность или тёмная страсть?

На седьмой день —
после того, как из бесформенной глины
я сотворил
свою землю и небо,
своё солнце, свои звёзды и луны,
своих птиц
и даже своё подобие, —
мир, мною построенный,
уже был готов к осаде.

И я,
как всякий усталый бог,
спокойно стал ждать появления
своего первого
атеиста.¹

Дорогой, Алексей, это я цитирую болгарского поэта Здравко Кисьова.

Цитирование — в тему. Я не раз размышлял о том, что происходило с пассажирами известного ковчега после его прибытия к горе Арарат. Я это сейчас не о зверях, птицах, рыбах и других проворных существах, я о человеке, которому всегда, во все времена было чем заняться. Я о троглодитах, пещерных жителях, которые при всей своей ужасающе трудной короткой жизни успевали оставить чудесные изображения оленей и мамонтов на стенах темных пещер, о первых умниках, наблюдавших звезды, создавших не только хитроумные ирригационные системы, но и письменность; наконец, я о том, что заставило людей не просто придумать Слово и Число, а всюю использовать Слово и Число не просто для бухгалтерских нужд, описей, судебных дел, указаний, законов, но и для сочинений, страшно сказать, *художественных*. Ведь, что

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

¹ Перевод Геннадия Прашкевича.

ни говори, а «Книга мёртвых» (древний Египет), «Полёт Этаны на небеса» и «Гильгамеш» (Шумер), «Рамаяна» и «Махабхарата» (Индия), весь Гомер, весь блеск веков, представленных великими поэтами, художниками, трагиками, обогатил, изменил, преобразил мышление человечества не только глубиной и эстетикой, но и массовостью своего производства.

Я называю первые пришедшие в голову имена, а ведь их так много, что Уильям Сароян в одной из своих статей с изумлением писал о том, что нет, видимо, ни одного места на Земле, которое не было бы отмечено проявлением поэтического таланта. Узнай я, писал Сароян, что существует где-то деревушка, в которой за тысячу лет ее существования не родилось ни одно увлеченное поэзией существо, я бы бросил все и полетел туда, чтобы увидеть, понять, осмыслить как, почему такое могло случиться?

Отсюда мой вопрос, Алексей.

Что толкает самого обыкновенного в сущности человека вдруг откладывать в сторону рабочий инструмент и *петь песнь*, как выражались древние? Медведь наступил человеку на ухо, а он сочиняет высокую музыку, слово плохо дается, рука выводит неверные линии, а он упорствует, дерзает, ему это надо, он пытается поразить себя и соседа, может даже думает о большем. Да, Господь создал нас по своему образу и подобию, но это же не значит, что самый потрепанный бомж после недельного запоя должен бренчать на лире и поминать Его имя всеу.

Я живу в мире литературы. В нем действуют те же законы, что везде вокруг, каждому приходится трудиться, а не просто бродить по значным поэтическим полянам с венком лауреата на голове.

Сегодня — солнце. Мы в карантине.

Медленно идет солнечный апрель 2020 года.

Имена великих все знают, буду говорить о малоизвестных.

Вот история некоего Савела Харина, был на Крайнем Севере такой художник-любитель (так он себя называл). Бородатый, как старообрядец, замкнутый, строгий, повидавший лиху, поскольку на север попал в конце тридцатых, сам этого не желая, а потом, получив волю (условно, с поражением в правах) остался навсегда под теми же низкими северными небесами.

Отсидел, вышел честный.

Доверили Савелу продуктовый ларек.

Поскольку начальство в тундре появлялось редко, освобожденный мозг Савела Харина всю работу: свою лавку он объявил коммунистической, то есть, вот вам, сами этого хотели: никакого лишнего контроля, почти полное доверие, все люди небогатые, друг друга знаете, так что, приходите, берите все, что вам нужно; рассчитаетесь, когда сможете.

И приходили, брали.

Иногда даже рассчитывались.

Но придирчивым советским ревизорам смелое начинание Савела не пришлось по душе: недостачу из него, понятно, вытрясли, и, поскольку открытого вредительства в произошедшем не усмотрели, отправили Савела заведовать Красным чумом — в другой полярный поселок, в новую жизнь. Именно в *новую*, поскольку там суровый Савел, до того росший просто, как гриб, вдруг открыл для себя искусство, точнее, живопись, или, еще точнее, то, что он сам считал живописью.

На Красный чум приходило несколько иллюстрированных журналов.

«Огонёк», «Красная нива», еще что-то. Понятное дело, доставляли их самолетом, бережливо. Считалось, грамота нужна людям даже безграмотным. Вот в тех

Анатолий Цирульников

Белые журавли на серой земле

Взгляд из России на китайскую деревню

Подобно героям классического китайского романа XVI века «Путешествие на Запад»¹, мы несколько столетий спустя тоже совершили путешествие, но в обратном направлении, на восток. Экспедицию организовал китайский Институт сельского образования Северо-восточного университета. Нам хотелось увидеть не только китайскую сельскую школу, но и ее социокультурное окружение. Поэтому нас интересовали хозяйствование, культура, история, быт, национальные меньшинства, сельские поля и урбанизация, народные мастера и промышленники, нефтяные вышки на рисовых полях и заповедники, серые земли, куда прилетают с Байкала и со всего мира белые журавли, — земли, на которых ничего, вроде, не растет, но которые оказываются источником жизни и процветания.

Мы увидели китайскую глубинку, которая почти незнакома российскому читателю, попытались погрузиться в неизведанную действительность, но все же это взгляд на китайскую деревню из России. Познавая другую культуру, мы с неожиданной стороны узнавали свою.

Цирульников Анатолий Маркович — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС. Автор оригинальных трудов по истории школьных реформ, этнокультурным проблемам образования, развитию инноваций, проблемам сельской школы. И страстный путешественник. Много лет его очерки в «ДН» позволяли нашим читателям путешествовать по самым отдаленным уголкам России. Сегодня мы представляем несколько фрагментов его будущей книги о путешествии по китайской глубинке.

Последняя публикация в «ДН» — 2020, № 11.

¹ «Путешествие на Запад» — один из четырех наиболее знаменитых классических романов китайской литературы. На запад, в Индию, за священными буддийскими книгами отправляется из Китая пестрая компания — боязливый монах Сюань Цзан и его волшебные помощники, в числе которых сосланный на землю с неба дебошир, царь обезьян и «великий мудрец, подобный небу» Сунь У Кун, комический получеловек-полусвинья Чжу Ба Цзе и помилованный небесным нефритовым императором белый конь-дракон, который до этого был принцем. История их путешествия, основанная на народных легендах, наполнена авторской фантазией и юмором, и, как положено героическому эпосу, всяческими приключениями, испытаниями и соблазнами, которые герои преодолевают на пути к цели. Повествование из ста глав перемежается чудесными стихами. Впервые опубликовано в 1590 году без указания автора.

Город и пригород

Стрижи носились,
Душу веселя:
Знак, что давно
Засеяны поля.
За кряжем кряж
Теснился и сверкал.
Над кручами шумели
Сосны хором.
Нагорный путь
Змеился между скал,
Как спутанный клубок
Причудливым узором...¹

Отправляясь в Китай, я мало что знал о нем. Он ассоциировался с бумажным фонариком детства. Со старым диафильмом: в коробочку вставлялась лента, глядишь в окуляр — и видишь картинку с драконом и желтой рекой...

Во времена русско-китайской недружбы поступала тревожная информация: хулиганы-хунвэйбины, студенты на площади Тяньаньмэнь. Кадры с острова Даманский: возбужденная толпа, люди, потрясающие красными книжечками с цитатниками Мао...

Потом будто провал во времени.

В двухтысячные годы неподалеку от Университета дружбы народов я увидел переходившего лесок китайского чиновника. Крупный мужчина в хорошем костюме шел уверенно, как по своей земле. Постепенно Китай приходил в Россию. Смутное представление, непонимание, даже раздражение сопровождало меня последние годы, пока я не оказался на китайской земле.

На пересадке в Пекине выпотрошили чемодан не хуже, чем в Израиле. Вытащили — к моему стыду — русскую еду. Я объяснил, что не могу есть китайскую (острую, жирную и соленую, как убеждали в интернете). В ручном багаже обнаружили перочинный ножик. Таможенница, молодая женщина, стала говорить что-то отрывистое по-китайски. Я был виноват, забыл правила перевозки, попытался объяснить, но, чем больше я горячился, тем холодней и злее становились ее глаза: «Дэнжери» — опасно, повторяла она. Потом положила «оружие» в целлофан и собралась конфисковать. Я спросил, вернут ли на обратном пути, она сделала вид, что не понимает. Когда она отвернулась, стоявший с ней рядом парень, другой таможенник, неожиданно бросил несчастный ножичек в мой саквояж и показал кивком, что могу идти. Оказался хороший парень.

Познакомился с наблюдавшим эту сцену товарищем по несчастью (его тоже переворошили). Москвич-компьютерщик из международной фирмы прилетел в Китай для учебы на две недели. Говорил с кем-то по телефону: «Представь, такая страна — а вайфая в аэропорту нет».

Пошли, перекусили в тамошнем кафе, поговорили о стране, кто что слышал. Карточки *visa* здесь, слава богу, действовали, а на бумажных банкнотах был изображен Мао Цзэдун.

И самолет в Чанчунь, где меня ждали, хоть и с задержкой, полетел...

Запах города был какой-то особенный — южный, хлебный, чуть сладковатый. Встретившая меня в аэропорту доброжелательная Сюэцзяо, с которой мы

¹ «Путешествие на Запад». Глава 80. (Здесь и далее цитируется в переводе А.Рогачёва по изданию: М., «Гослитиздат», 1959.)

переписывались и пару раз виделись в Москве, сразу повезла меня кормить. В ресторане — уютный маленький зал на четыре столика с диванчиком, — на стенах висели фотографии, на полках стояли книги. Накормила меня «сяоми хао» — маленьким рисом, «сань бэй цзи» — курицей в сладком соусе и «шунсе» — сырыми овощами. Очень вкусно, сразу стало ясно, что русскую еду из чемодана надо куда-то сбавить.

Сюэцзяо пишет диссертацию по сельской школе и говорит, что многие родители уезжают на заработки в город, а дети остаются с бабушками и дедушками. «Бабушкина деревня?» — спрашиваю я (это явление нам знакомо, так теперь в России называют деревню без родителей). Сюэцзяо согласно кивает.

Меня поселяют в Гранд-отеле с белой мраморной лестницей, черным роялем и пальмами, поднимающимися до второго этажа, и желают хорошего отдыха.

На следующий день меня сопровождали уже три девушки-магистрантки Северо-Восточного университета. Свои имена они написали иероглифами в моей толстой тетрадке: Инь Сюэцзяо (первое слово — фамилия, второе имя), Чжан Шици и Ли Яцзюнь из провинции Харбин. Одна девушка представилась по-русски Леной. Другая — Наташей. Почему-то так в Китае называют многих. Хотя, если перевести на русский дословно, их имена звучат гораздо красивей. Например, Сюэцзяо — снег, красота; «красивая, как снег», высказал предположение я. Сюэцзяо радостно закивала. Таким же образом я установил, что «ши ди» — это «первозданный мир», а «я цзюнь» — «интеллигентный цветок», что в общем соответствовало облику моих спутниц. Через такую лингвистику я начал осваивать азы китайского. «Ни хао» — добрый день, здравствуй. «Цзай цзянь» — до свидания, еще увидимся. «Во доу дун» — этим выражением я пугал китайских коллег. Сидят люди за столом, разговаривают, вдруг я со своим «во доу дун» («я все понимаю, что вы говорите»). Народ, естественно, вздрагивает. Потом, сообразив, смеется.

Еще в нашей компании — жаль ненадолго — оказалась магистрантка-переводчица Юля. Она русская. Из Иркутской области, со станции Зима. Закончила в Иркутске лингвистический институт и шестой год учится тут, в магистратуре по сравнительной педагогике. По-китайски говорит совершенно свободно. «А потом что делать думаете?» — «Когда-нибудь докторскую... Уезжать не думаю, потому что выхожу здесь замуж».

Станция Зима отсюда недалеко — полтора часа на поезде до Харбина и два на самолете до Иркутска. Евтушенковский городок вымирает. Заводы закрылись, папа Юли, чтобы кормить семью, работает на железной дороге. Мама — учит детей в школе. А Юля — в Чанчуне, что означает «длинная весна». «Из зимы в вечную весну?» — говорю я Юле. Мы смеемся. Впрочем, замечает она, весны тут не бывает — сразу лето.

Из Зимы в Лето. Домой в Сибирь Юля ездит часто, так что река забвения Лета ей не грозит.

Новая деревня

В отдельном кабинете ресторанчика, где мы обедаем, на стене висит картинка времен культурной революции. Грамота с портретом вождя. «Почетную грамоту товарищу Ли Куитуй дали за то, — переводят мне, — что он как образец социалистического работника поздно женился и поздно родил ребенка. Все время работал на строительство социализма».

Подписано: «Совет Новой деревни».

Так называется и ресторанчик, где назначил нам встречу директор института сельского образования.

В институте готовят студентов к сельской жизни. Они к ней не готовы. «У нас тоже», — радостно сообщаю я (нашел наконец общую тему для разговора). Рассказываю, как одна наша выпускница педвуза мучается с печкой. Сюэцзяо и другие девушки-

магистрантки не удивлены. У них в селах тоже печки, даже кровати с печками. Потом увижу: каменная кровать, внизу прямоугольное отверстие, через него поднимается тепло из топящейся дровами печки под кроватью. Каменная лежанка — широкая, на ней умещается человек пять-семь.

Тут к нам присоединяются директор института У Чжихуэй с заместительницей. Она в черных джинсах и темных очках, а директор в строгом костюме со значком на лацкане пиджака в честь семидесятилетия Китайской народной республики. Веселый, бодрый, стриженный «под ежик» директор очень симпатичный.

Усаживаемся за вращающийся столик с китайскими закусками. «Хаочи, — говорю, — вкусно».

В «Новой деревне» — глиняная ограда с гроздьями перца, чеснока, початками кукурузы. В предбаннике рестораника сидят мужчины, играют в маджонг. Пьем перед едой белый сладковатый сок сои. Я показываю на стену с грамотой товарища Ли за то, что он поздно женился и строил социализм. А как сейчас в Китае?

Директор поясняет: революция в России шла в городах, а в Китае ее передвинули в деревню. Раскулачивать не стали, и это позволило провести кооперирование сельского хозяйства, сохранив рычаги роста — наиболее рачительных хозяев. Без принудительной экспроприации были проведены преобразования частной промышленности и торговли. Поставить на благо народа не только капитал, который у предпринимателя в кармане, но и тот, что у него в голове, — такова была цель создания государственно-частных предприятий. Бывшего владельца оставляли генеральным директором, лишь приставив к нему комиссара в лице секретаря парткома. Хуацяо, «заморские китайцы», были желанными гостями, в отличие от белоэмигрантов у нас. Детей кулаков и буржуев принимали в комсомол, брали в военные училища. И это лишало их родителей стимулов к сопротивлению победившей революции.

Впрочем, то, чего, в отличие от России, в КНР не делали в первые годы, наверстали потом, за десятилетие культурной революции. В общем, сначала было плохо, потом ситуация стала улучшаться. Начала развиваться промышленность. «Китай окреп маленько», — перевела Юлия Ипатенкова слова директора.

Крестьяне сдавали овощи и фрукты государству по низким ценам. В деревню приезжали люди из города, помогали налаживать хозяйство. Это длилось семнадцать лет, потом десять лет культурной революции, в целом — три десятилетия. Сейчас об этом мало кто помнит.

После культурной революции до конца 70-х известно что было. Земля оставалась народной, и большую часть урожая крестьяне отдавали государству. Не было стимула работать. И вот в одной маленькой деревушке произошел такой случай: урожай разделили на части и сказали — можно себе оставить. Это было нарушением закона, но администрация решилась. А потом... а потом начались знаменитые экономические реформы Дэн Сяопина. Начались с двух вещей, которые у нас до сих пор на периферии общественного сознания, — с деревни и образования.

«Сейчас много китайцев, — замечает У Чжихуэй, — ездят учиться по миру, и это начинает становиться частью нашего образования. Постепенно», — добавляет он.

У китайцев поговорка: переходя реку, нащупывай камни.

Ши-ши-ши. Дуй-дуй-дуй

Вечером смотрел китайское телевидение: никаких бандитов и следов. Главным образом — спорт: велосипедные гонки, бадминтон, захватывающие волейбольные матчи. Соревнования на длинных лодках, как у нас на гребном канале когда-то.

На первом канале в связи с семидесятилетием образования КНР шел историко-художественный фильм. Молодого Мао Цзэдуна играл красивый актер. Когда на экране появлялись гоминдановцы, музыка звучала тревожная, как в старых советских

Кирилл Кобрин

Второй китайский дневник

*Из будущей книги «На пути к изоляции.
Дневник предвирусных лет, 2018 — февраль 2020 года»*

Моя китайская история началась еще в 2015-м, когда академический приятель поинтересовался, мол, не хочу ли я поработать в Поднебесной. Один китайский коллега, профессор с юга-запада страны ищет специалиста, который хотел бы провести год, два, а то и больше в его университете. Мне идея понравилась — в силу склонности к авантюрам, да и Китай всегда много для меня значил. По-своему, по-поколенчески, конечно, но значил. В общем, я согласился. Дальше последовали неторопливые муки мандаринской бюрократии, один раз я уже было стартовал в Поднебесную, но в последний момент выяснилось, что, увы, не могу, ибо там кто-то неведомый допустил ошибку в документах, прошло еще пять месяцев от самого последнего срока, наконец, в феврале 2017-го я оказался в городе Чэнду, провинция Сычуань. Пробыл я там год, потом контракт мой скукожился из двенадцатимесячного в одномесячный, и я второй раз вышел, пошатываясь от недосыпа, из аэропорта Чэнду только в начале сентября 2018-го. Тогда я уже догадывался, что это либо последний, либо предпоследний визит — область моих академических и педагогических интересов находится далековато от магистральных путей стремительного продвижения вперед китайского Университета и Академии. Впрочем, как и в других странах и регионах. Надо смириться и понять, что мало кому нужен. «Humility» — так называется одна из лучших (и развеселых) песен на предпоследнем альбоме группы Gorillaz. Воистину, humility. Аминь.

В общем, в начале сентября 2018 года я летел из своей Риги в некогда свой Чэнду с уже заготовленной наперед ностальгией, в компании которой намеревался провести месяц там, где некогда провел год. Ностальгия пригодилась, конечно, но не очень. Полгода в Европе после года в Китае сцементировали какое-то новое ощущение жизни, новую топографию сознания, где уже окончательно не осталось магнитных полюсов. Мир во всех своих частях, больших и малых, даже в своих подробностях,

Кобрин Кирилл Рафаилович — российский писатель, историк, журналист, редактор. Родился в 1964 году в Горьком. Окончил исторический факультет Горьковского университета. Кандидат историч. наук. Автор более двух десятков книг, в том числе вышедших в последние годы: «Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России» (2018), «На руинах нового: эссе о книгах» (2018), «История: Work in Progress» (2018), «Поднебесный Экспресс» (2019). Финалист премии НОС. Редактор журнала «Неприкосновенный запас» и соредaktor арт-литературного онлайн-проекта post(non)fiction. Живет в Риге.

мелочах стал волшебным равен самому себе, уже не обещая ничего нового, но и не обманывая несбывшимися надеждами. Хотя, конечно, надежд уже давно не принято испытывать — и мир тут ни при чем. Но все-таки, чисто географически еще — по крайней мере, для меня лично — существовали места, в которых от себя можно было бы ожидать неведомого. Север, Юг, Запад, Восток, города или природа — неважно. То ли возраст взял свое, то ли истерическая частота перемещений, моей жизни в 2018-м свойственная, сказать сложно, но факт остается фактом — к сентябрю того года все вокруг соответствовало себе самому. Что, конечно, открывало для меня новые горизонты и даже возможности для наблюдения и размышления. А наблюдать и размышлять я обожаю. Как и читать. И слушать музыку. Собственно, больше почти ничего.

Короче говоря, я полетел в Китай из Риги, с пересадкой в Москве, провел в Чэнду небезынтересный месяц, из Чэнду полетел (с пересадками в Сан-Франциско и Денвере) в Демойн, откуда поехал в Гриннелл (что оказалось своего рода разведкой перед боем — ровно через год в том же самом Гриннелле я просидел уже целый семестр)¹, откуда поехал в Сент-Луис, откуда — с пересадкой в Вашингтоне и Цюрихе — прилетел в Питер, откуда сгонял в Нижний Новгород, откуда — через Москву — в Красноярск, из которого через Москву вернулся в Ригу. На все про все ушло чуть больше двух месяцев.

Выстукивать это все сейчас на клавиатуре — и особенно перечитывать — жутковато, но захватывает. Ведь это тот самый мир, что кончился на наших глазах, что кончился в наших жизнях — по крайней мере, в моей, за остальных не скажу — в начале 2020-го. Не исключено, что нервическое мельтешение людей внутри и поверх барьеров продолжится и после того, как Волшебная Вакцина заборет Злодейскую Корону, но лично мое существование уже не будет прежним. Не вернется легкость пересадки в каком-нибудь Пекине или Осло, когда опухшими от долгого сидения в пыточном кресле ногами бодро вышагиваешь к своим воротцам, катя чемодан, поглядывая по сторонам в поисках воды подешевле, кофе подешевле, со-аэропортников позабавнее, когда за стеклянными окнами металлические птицы присасываются к терминалу ребристыми рукавами. Эротика, соматика, эмблематика всего этого для меня кончились. Впрочем, и слава Богу.

В этом смысле месяц во Внутреннем Китае, вдалеке от мест, где говорят на иных языках, кроме мандаринского (причем еще в местном его изводе), где от души едят, пьют зеленый чай и играют в маджонг, где дышать на улице нечем, зато курят еще настоящие сигареты, где Великая Стена Цензуры отрезает тебя от внешнего мира, и ты, потрепавшись над экраном айпэда, приходишь к выводу, что сие не так плохо, и даже мнишь себя каким-нибудь древним поэтом, вроде Тао Юаньмина, и так далее, и так далее, — все это вернуло мое сознание, вывихнутое из своих суставов перелетами вокруг мира, на свое место. Собственно, об этом и нижеследующие записи.

И последнее. Перечитывая собственные дневники 2018-го, 2019-го и самого начала 2020-го, конечно же, накладываешь на них тот сюжет, что разыгрывается с нами всеми нынче. Получается своего рода постфактум-причинность; будущее, в котором я оказался, стягивает к себе всё бывшее настоящее, вдруг ставшее прошлым — настоящее гигантских стеклянных будок под названиями Шереметьево, Гэтвик, Скинхолл и так далее, настоящее битком набитых огромных железных птиц с

¹ См. мой американский дневник осени 2019-го в «ДН» (№ 9, 2020).

тупыми носами. Перед искушением сложить все бывшее в инсталляцию под названием «На пути к карантину» устоять невозможно. Я и не устоял. Собрал дневники в книгу, надеюсь, она скоро выйдет. Здесь же я предлагаю читателям отрывки из нее.

Рядом с текстом мы публикуем чуть больше дюжины моих китайских фотографий. Ничего особенного на них нет — нет в них самих ничего особенного. Я никакой не фотограф, просто — как миллиарды прочих людей — что-то запечатлеваю на камеру смартфона. Потом, конечно, возжусь и разбираю, чищу, так сказать, подвалы. От чисток сохранилось примерно 50 китайских фото, сделанных мною в 2017-м, 2018-м и 2019-м (когда я неожиданно опять оказался в Чэнду, и опять на месяц). Экзотику я не снимаю, за видами не гоняюсь. Просто создаю видеоряд к тому, что думаю. Потому подбирая фотографии к этой публикации, я вдруг обнаружил: некоторым сюжетам моих китайских дневников соответствуют серии снимков. Вот трушобы, о которых я велеречиво рассуждаю. Вот воспетые ниже тачки садовников и уборщиков парков. Вот просто люди. Вот дома современные. Вот еще люди вечером сидят на небритых деревянных ящиках и картонных коробках из-под товаров мелочных лавок за их спиной, и, причмокивая, чавкая, поглощают огненную лапшу, запивая ее жидким пивом и огненной же водой байдзю. Если кому-то из читателей все это о чем-то расскажет — отлично. Если нет, увы. Тут уж ничего не поделаешь. Восток есть Восток, и далее по тексту.

14 декабря 2020 года

6 сентября 2018, Рига—Москва—Чэнду

Опять аэропорты и самолеты; уже сбился со счета — который раз лечу в этом году. Начинал этот дневник с полетов и продолжаю его то в скользком металлическом кресле, ожидая посадку, то вот, как прямо сейчас, корчась на совсем уже скверном разболтанном самолетном троне. Спинка ходит туда-сюда, оттого упор приходится на поясницу, та принимается ныть уже через полчаса после взлета, боль охватывает нижнюю часть туловища на манер резинового жгута. Но это если не развалиться, осторожно выставив ноги под кресло впереди (экзотический «Сухой», что несет меня в своем тощем брюхе из Риги в Москву, такую возможность — с определенными оговорками — дает), то есть, если не читать и не писать, а просто подремывать или даже смотреть в окно — размышляя или просто так, в данном случае, неважно — то резинового жгута не будет; впрочем, тогда будет другой какой-нибудь, в зависимости от возраста, пола, комплекции, настроения и проч. Но мы не из таких, мы читаем и пишем, так как когда еще? Где еще? Воздушные перемещения по миру, перемежаемые продвижением через стеклянные мясорубки аэропортов — лучшая возможность заняться лучшим делом, от которого обычно... нет, не отлыниваешь, от которого жизнь отлынивает нас. Здесь-то, в самолетном брюхе, понимаешь, что действительно важно, а что нет.

Об этом примерно писала Токарчук в «Бегунах», но все-таки, несмотря на ее почтенный нонконформизм радикально-либеральной польской женщины и на ее замечательные дреды, она порой все-таки склоняется к жанру (условно!) «ресторанной критики», только не о ресторанах, а о чем угодно, что попадает в поле ее внимания и интереса. Оттого — отдавая должное ее прозе и самой идее превратить аэропорт в одного из героев оной — перечитывать «Бегунов» не хочется, хотя и надо бы для моих писательских нужд. Не то чтобы я все хорошо помнил оттуда, нет, помню общий дух,

Кирилл Кобрин

Поднебесная на пути к карантину

На этих фотографиях ничего особенного нет — я никакой не фотограф — как миллиарды прочих людей, — что-то запечатлеваю на камеру смартфона. Экзотику я не снимаю, за видами не гонюсь. Просто создаю видеоряд к тому, что думаю. Потому, подбирая фотографии к этой публикации, я вдруг обнаружил: некоторым сюжетам моих китайских дневников соответствуют серии снимков. Вот трущобы, о которых я велеречиво рассуждаю. Вот воспетые ниже тачки садовников и уборщиков парков. Вот просто люди. Вот дома современные. Вот еще люди вечером сидят на небритых деревянных ящиках и картонных коробках из-под товаров мелочных лавок за их спиной, и, причмокивая, чавкая, поглощают огненную лапшу, запивая ее жидким пивом и огненной же водой байдзю. Если кому-то из читателей все это о чем-то расскажет — отлично. Если нет, увы. Тут уж ничего не поделаешь. Восток есть Восток.

















Александр Люсый, Чжоу Лу

Сам себе китаист: исследовательское шоу

*Путь к «китайскому тексту» русской культуры
с точки зрения внутреннего и внешнего диалога*

Значительный канон китайских образов на русском языке создавался в результате китайско-русского культурного взаимодействия несколько веков и не мог не сложиться, пользуясь современной терминологией гуманитарных наук, в «китайский текст». В текст, понимаемый как свертхтекст литературы и культуры в целом, имеющий определенную внутреннюю структуру и связанный с множеством других текстов и иных культурных феноменов.

К удивлению зрящих

Первым реальным посредником (*медиатором*) во взаимодействии Руси и Китая в XIII веке стали монголы, под власть которых обе страны попали почти одновременно. В китайских источниках XIV века есть упоминания «русского полка», вероятно, сформированного из угнанных жителей Руси, а китайские военно-технологические (осадные) ноу-хау того времени монголы использовали при штурме русских городов.

Собственно в тексте русских источников Китай впервые упоминается в XV веке во включенной в состав Второй Софийской летописи под 6903 г. (1394 или 1395 г. по сентябрьскому летосчислению либо 1395/1396 г. по мартовскому) «Повести о Темир-Аксаке» (т.е. о Тимуре Тамерлане) в контексте перечисления покоренных Тимуром территорий: «А се имена темъ землямъ и царствомъ, еже бе поплннилъ Темиръ Аксакъ: Чагодай, Хосураний, Голустаний, Китай, Синяя Орда...»¹

В XVII веке пространства сомкнулись, пришло время практических текстов, которые подтверждают заявленный нами общий контекст. Таковым стал труд известного дипломата на русской госслужбе Николая Спафария — «Описание первой части вселенной, именуемой Азией, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городами и провинциями». Это первое систематическое описание Китая в России, в которое включены не только доступные взгляду путешественника приметы, но и вся известная информация о политическом, социальном устройстве страны, ее культуре,

Александр Люсый — доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории культуры Института кино и телевидения (ГИТР), Москва.

Чжоу Лу — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Чжэцзянского университета в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, Китай.

науке, хозяйстве и привычках населения как бы предвеляет систему китайских текстов русской культуры, которую еще предстоит создать.

Это при том, что в старину сведения о Китае представляли собой своего рода элитное знание, будучи доступны узкому кругу руководства и чиновников. Большинство дипломатических описаний существовали в одном или нескольких рукописных экземплярах, не выходя за пределы приказов, и не были доступны более широкому обществу. Исключением стали как раз 40 сохранившихся копий «Описания» Н.Г. Спафария.

Современный дипломат и культуролог А.В. Лукин в книге «Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII—XX веках» (М.: АСТ: Восток — Запад, 2007) представил самую общую китайскую образную диалектику в российском сознании таким образом: в царской России — от загадочного и экзотичного соседа к слабому союзнику, в СССР — от младшего брата-пролетария к идейному оппоненту-ревизионисту, в постсоветской России — между примером для подражания, партнером или опять ревизионистом, но пространственным.

Нам же важно пробуждение в русской литературе интереса к самому «китайскому уму», что произошло в середине XVIII века на волне моды на «китайщину», пришедшую в Россию из Европы. Именно эта, заимствованная у запада, мода стала в эпоху Просвещения новым русско-китайским культурным посредником. Вольтер, Монтескье и другие европейские просветители нашли в философии конфуцианства, которая уделяла значительное внимание этико-политическим и моральным аспектам во взаимоотношениях между правителями и гражданами, поддержку своим идеям о просвещенном абсолютизме, основанном на «союзе монархов и философов».

Антиох Кантемир в сатире «Об истинном блаженстве», рисуя идеал спокойной жизни в удалении от бурных страстей и общественной борьбы в духе Горация, говорит о «странном китайском уме».

Искусство само твой дом создало пространный,
Где всё, что Италия, Франция и странный
Китайск ум произвели, зрящих удивляет².

Любопытно, что европейские Италия (родоначальница Возрождения) и Франция (родина Просвещения) фигурируют здесь именно как страны, хотя и с повышенной знаковостью. То же, кстати, относится и к последующим в этом перечислительном ряду источникам драгоценностей для вельможи Индии и Перу. Китай же тут не страна и место на карте мира, а некий ум, призванный удивить. «Причина видится в том, что в середине XVIII века Китай как страна был известен в России все же мало и плохо, гораздо хуже, чем завозимые из Европы диковинные китайские товары, иметь которые считалось мерой престижа и достатка. «Станный китайский ум» стал известен в России существенно раньше, чем сам Китай. По всей видимости, этим обстоятельством объясняется использование эпитета «странный», которым определялся недоступный разумению культурный феномен и стоящий за ним китайский интеллект», — так объясняют сейчас китайские «странности» Кантемира Цао Сюэмэй и О.В. Дефье³. Однако это выражение стало не просто фиксацией конкретно-исторического состояния, но формулой, открытой в будущее.

Параллельно распространению в России европейского культурного и научного влияния усиливалось и внимание именно к уникальным свойствам китайского ума. Развивая китайские позитивные «странности» Кантемира, М.В. Ломоносов включает творческие способности «замысловатых хинов», как он называет китайцев, в контекст лучших достижений европейской культурной мысли, представленной в его «Письме о пользе стекла» (1752) богами, героями и мыслителями Античности, учеными Средневековья. Профессиональное восхищение китайским гением нарастает в этом

образце «научной» поэзии, где ученый и поэт «поет... в восторге похвалу / Не камням дорогим, ни злату, но Стеклу»⁴, воздаст должное искусности «замысловатых хинов», прославивших себя умением «огромность тяжкую плода лишенных гор», «художеством своим» преобразить «в Фарфор». Китайцы, по словам М.В.Ломоносова, «Красой его к себе народы привлекают, / Что, плавая, морей свирепость презирают»⁵.

Петр I любил украсить прорубленное в Европу «окно» китайскими изделиями в Петергофе, Александр Меншиков не отставал от него в своем Ораниенбауме, Елизавета I превратила в столицу русской «китайщины» Царское Село. Наибольшая же популярность «китайского ума» и «китайщины» наблюдается в эпоху царствования Екатерины II. В своем увлечении китайской культурой сквозь призму французского просвещения, как бы предопределяющие архитектурный стиль Царского Села с его китайским колоритом, императрица особое внимание уделила передовым формам правления и воспитания подданных. И тень Конфуция как бы постоянно отражалась при этом в зеркалах китайских павильонов. «Китайский ум» отразился и в ее собственном педагогическом опыте «Бабушкиной азбуки», которую Екатерина писала в назидание своим внукам. Такие части «Азбуки», как «Китайские мысли о совести» и «Сказка о Царевиче Февее», по наблюдениям Цао Сюэмэй и О.В.Дефье, наделены афористическим и мотивным сходством с философски поучительными изречениями и притчами Конфуция.

Г.Р.Державин в стихотворении «Развалины» (1797), в связи с предопределенным воцарением Павла I упадком Царского Села, *конфуцианка на троне* маскирующе приодетая в Киприду, вспоминает былое процветание «китайской деревни» так: «Здесь был театр, а тут — качели, / Тут азиатских домик нег...»⁶ Тем самым, на наш взгляд, здесь дана последующая перспектива сразу трех китайских текстов русской культуры: театр как просветительский имперский текст, качели как взлеты и падения советского китайского текста, укромное убежище китайского эмигрантского текста русской культуры, о чем предстоит разговор ниже.

В XIX веке «китайский текст» оказался оружием в руках оппозиционной общественной мысли, став символом деспотизма и застоя. Для Виссариона Белинского смысл понятия «китайщина» сместился от знака приобщения страны к общеевропейскому культурному развитию к показателю отсталости⁷, хотя он при этом высоко оценил незавершенный фантастический роман Владимира Одоевского «4338-й год: Петербургские письма» («богатым остроумными мыслями»⁸), в котором главный герой, современник автора, посредством «месмерических опытов» переселяется в тело китайского студента Ипполита Цунгуева в ситуации, когда в мире осталось только две заметные страны, Россия и Китай, обреченные на союз под угрозой космической катастрофы. «Меланхолия», однако...

В представлении Александра Герцена, сторонника «крестьянского социализма», Россия как молодая и яркая культурная сила, находилась между двумя застойными полюсами Европы и Китая⁹.

Подобные взгляды реанимировались и преломлялись в начале XX века в воззрениях В.Соловьёва, А.Блока, Д.Мережковского. Более позитивный поворот к азиатской идентичности наблюдается у евразийцев 1920-х годов, хотя один из основателей движения Н.Трубецкой исключил Китай из своего единства евразийского культурного пространства, заявляя, что китайский религиозный менталитет абсолютно чужд славяно-туранской идентичности, которую он стремился определить¹⁰. Более инклюзивное видение паназиатской тождественности характерно для высказываний поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Сохранился его недоработанный текст «А Китай растёт в землю...» (1913), иронически стилизованный под грамоту посольского дьяка допетровского времени.

По существу это декларация «азиатской» геополитической ориентации России: «А Китай растёт в землю, и от дружбы с ним станем хозяевами оной земли, рекомой

Азией, яко янки <хозяевами земли>, рекомой Омерикой. А сам Китай зла не замышляет. А игра малая идёт, чтобы копьё Китая насторожить, аки рогатину, на сердце русское. А ведут её янки, а втихомолку и другая. Самим же <русским>, поселившись на берегу морском, торговать безвозмездно и беспощинно и стать, яко бриты глаголемые в Индии. Но треба не пускать <другах> на берег, а то будет худо, когда <нрзб.>. И многие озоруют, чтобы навлечь на нас гнев Китая. А забыли про гнев русский. И кто примет первый печаль, неизвестно»¹¹. В манифесте 1918 г. «Индо-русский союз» (иначе — «Манифест Младоазии») он призывает новую Россию к «немедленному соединению с южным Китаем для образования мирового тела великой Швейцарии Азии»¹².

«Варвар бледнолицый»

Текстологическая интрига текущей познавательной ситуации заключается в том, что современные российские и китайские исследователи сейчас погружены преимущественно в литературу русской эмиграции, тогда как для европейских и американских славистов куда интересней оказывается советский «китайский текст».

Творчество многих писателей русской эмиграции первой волны в Китае можно отнести к первому ряду русской литературы как таковой — Л.Н.Андерсен, А.А.Ачаир, Вс.Н.Иванов, А.Несмелов и многие другие. Их вольное или невольное приобщение к «китайскому уму» рождает теперь «ум текстологический». Среди последних обобщающих трудов по этой теме выделяется диссертация Цуй Лу «Рецепция китайской культуры и ее отражение в поэзии русской дальневосточной эмиграции 1920—1950-х гг.» (СПб., 2019), в которой показано, как «китайский текст» в поэзии дальневосточной диаспоры стал открытием новых смыслов человеческого существования в условиях эмиграции, способствуя формированию эмигрантского мифа, нашедшего воплощение в поэзии как идентификации себя в культуре.

Эмигрантский миф как способ конструирования художественной картины мира образовался в поэзии эмиграции через оппозиции: «Россия — Китай», «Запад — Восток», «свой — чужой», «прошлое — настоящее», «бессмертие — смерть» и т.д. «Китайский ум» привнес в поэзию дальневосточного зарубежья мифологему *космоса* и *хаоса*. И они начинают взаимодействовать с событийным планом сознания как набором устойчивых мотивно-образных и смысловых доминант. Харбин, ставший «столицей» русской эмиграции в Китае, сделался истоком спасительного воспоминания, которое позволяло воскресить в памяти русскую культуру. Харбинский миф как утопический миф о воссоздании дореволюционной России в китайском городе явился неким семантическим инвариантом «китайского текста». С ним взаимодействует мотив возвращения прошлого в соотношении с мифологемой *космоса*.

Собственный взгляд на страну пребывания у дальневосточных поэтов складывается двойственно — в режимах отталкивания и притяжения, на фоне взаимоналожения представлений о Харбине как второй Родине и Китае как «чужом» пространстве. Для поэзии русского дальневосточного зарубежья характерно обращение к ориентальным образам как архаическим кодам китайской культуры. Поэты-эмигранты создают миф о вечном Китае, где «Китай» сохраняет в себе черты некоего внетекстового субстрата их «китайского текста». Русские поэты воплощают в созданном ими «китайском тексте» две глубоко взаимосвязанные семантические доминанты, которые основаны на мысли о ежедневном убогом прозябании китайского «маленького человека» и одновременно о существовании вечных истоков древнейших родников духовной культуры. В то же время в поэзии русских эмигрантов в Китае мифологема *возвращения* связана с созданием нового варианта жизнеустройства в приютившей их

Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась

Литературные итоги 2020 года

*В этом номере — размышления Николая АЛЕКСАНДРОВА,
Ольги БРЕЙНИНГЕР, Константина КОМАРОВА,
Елены ЛЕПИШЕВОЙ, Алексея САЛОМАТИНА*

Традиции «ДН» подводить итоги минувшего литературного года — 15 лет. Пролистав три первые журнальные книжки, начиная с 2007 года, можно получить если не полное, то весьма объемное представление о наиболее интересных и обсуждаемых произведениях и авторах, о самых горячих полемиках и премиальных сюжетах, об опыте и насущных проблемах толстых журналов, книжных издательств, литературных сайтов и блогов — в перекрестье субъективных оценок и суждений писателей, критиков, блогеров из столичной и нестоличной России, «ближнего» и «дальнего» зарубежья.

Как всегда, мы предлагаем участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Литература в обществе «удаленки» и «социальной дистанции»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Николай Александров, литературный критик (г. Москва)

Уединенное чтение в эпоху соцсетей

1. Я начну не с «текстов», а с книжек. Просто потому, что появление этих книг внушает надежду и оптимизм, во-первых. Во-вторых, они рассчитаны на долгое чтение, к чему, собственно, и подталкивает время коронавируса, в-третьих, потому что это действительно выдающиеся издания, которые останутся с нами надолго. Итак. Издательство «Ладомир: Наука» выпустило в серии «Литературные памятники» «Декамерон» Джованни Боккаччо в трех томах в классическом переводе Александра Веселовского, но с восстановленными купюрами. Плюс к тому — примечания, комментарии, статьи — все как полагается. Чтение для локдауна — изумительное. И своевременное. Второе издание не менее замечательно — «Детские и домашние

сказки» братьев Гримм в двух томах. Все это классика и хрестоматия, разумеется, но пока классика так издается, есть во что верить. Кроме того, в не менее знаменитом, чем «Литературные памятники», «Литературном наследстве» (многие думают, что этот проект давно умер) вышел 112-й том в двух книгах. Это «История становления самосознающей души» Андрея Белого, подготовленная М.Одесским, М.Спивак. Х.Шталь. Эти книги стоит хотя бы подержать в руках, хотя бы посмотреть, полистать, даже если вы равнодушны к Андрею Белому и его безумным мистическим идеям. Здесь одни рисунки чего стоят. И это издание вполне сопоставимо с недавней литературоведческой сенсацией — комментарием Александра Долинина к «Дару» Владимира Набокова.

И еще одна книга. Уж точно совсем безумная (то есть полностью соответствующая своему герою) — «Фёдор Дмитриев-Мамонов. Дворянин-философ. “Известия”, рукописные книги, медали и “системы” с материалами к его биографии и комментариями Михаила Осокина». Как ее можно не только прочесть, а читать (тысяча с лишним страниц), как ее можно было издать — не представляю. Сам факт ее выхода — уже чудо. Вот это точно, в еще большей степени, чем Андрей Белый, — герметичное чтение, закрытое, отдельное, уединенное, когда не книга ищет читателя, навязчиво предлагая себя, а читатель ищет книгу. Когда книга самодостаточна, когда она делает любезность читателю тем, что вышла в свет, потому что на самом деле предпочитает держаться в тени. И, к слову сказать, это и есть одна из тенденций сегодняшнего дня. Чтения разного рода (по большей части электронного, а не бумажного) настолько много, настолько современное пространство им засорено, что оно неизменно теряет в своем качестве, девальвируется, превращается в шум (в эпоху пандемии особенно осязаемый, кстати), пустой текст. Настоящая книга вынуждена прятаться, то есть изначально быть раритетом. Она, говоря словами уважаемого мной Константина Бурмистрова, сопротивляется публикации, стремится быть не изданной.

Если говорить о литературе более или менее актуальной, то из переводных книг в сухом остатке этого года для меня — замечательный исторический роман Хилари Мантел «Волчий зал», написанный с необыкновенной точностью и экспрессией, «История Англии» Питера Акройда, удивительно изящная повесть Жан-Клода Мурлева «Старые друзья» (автора многим памятного «Горя мёртвого короля») и «История чтения» Альберто Мангеля, потрясающая по идее и исполнению. Еще один пример медленного чтения.

В отечественной словесности я бы отметил Аллу Горбунову — «Конец света, любовь моя» — роман в рассказах, я бы так сказал, о последнем времени и последних временах, о страхах и травмах, поджидающих человека, вступающего в сознательную жизнь, о неприглядном, почти фантастическом аде, который оборачивается повседневностью, о свободе и любви, без которых жизнь невозможна, и об отчаянной попытке преодолеть, выразить себя, сказаться, стать, быть в этом тянущемся бесконечно конце света. Здесь, конечно, в первую очередь бросается в глаза письмо, в котором остро чувствуется поэтическая составляющая, даже если не знать, что Алла Горбунова поэт. Книга еще одного поэта (и о поэтах, поэтах блокадного времени) достойна внимания — Полины Барсковой «Седьмая щёлочь». И, если уж зашла речь о поэтах, я бы отметил сборник «Волынщик над Арлингтоном» Юлия Гуголева, лауреата обновленной премии «Поэт». Лично меня в Гуголеве восхищает свободная и точная игра со словом, когда простые явления и вещи: лифт, мясорубка, экскаватор, памятный в московских дворах призывный глас «Старые берем!», смятые тапочки, странный пассажир в автобусе, преображенные поэтической кулинарией, — превращаются в историю, когда волшебный метафорический осколок легко разрастается в целый мир.

Я с интересом прочел «Секретики» Петра Алешковского и «Крысолова» Дмитрия Стахова. Меня, к моему удивлению, не разочаровал Пелевин и его (слишком уж объемный, правда) роман «Непобедимое солнце». Я порадовался за успех Александра

Иличевского в «Большой книге» (хотя, скажу в скобках, по моему мнению, «Большая книга» по представительности, литературной репрезентативности в этом году уступает НОСу). «Чертёж Ньютона», на мой взгляд, едва ли не лучший его роман. А в еще большей степени меня порадовал его сборник эссе «Воображение мира». И отдельно хочется сказать вот о какой книге. Это роман Аллы Хемлин «Интересная Фаина». Он как-то прошел незамеченным (что, впрочем, как раз скорее говорит в его пользу). Это рассказ о странной, блаженной девочке Фаине, о ее судьбе, насыщенной событиями почти детективными. Действие происходит до революции. Батуми, Одесса, Киев — разные люди и разные миры, отраженные в аутичном сознании Фаины. Из этого сознания (правда, уже из другого, послереволюционного времени) и ведется повествование невероятным, удивительным языком. Мастерство письма не может не вызывать восхищения. Так мало кто уже умеет писать. Это абсолютно индивидуальный язык, — придуманный, но как будто подслушанный, который в своем странном, наивно-искаженном измерении тем не менее отражает реальную речь (причем разнообразную — все-таки дореволюционные Одесса и Киев). Такое вживание, превращение в Другого, такой причудливый способ повествования и хитрая игра со временем — редкость сегодня. И это, наверное, главное «художественное» впечатление года.

2. Пожалуй, единственное, что могу назвать — «Симон» Наринэ Абгарян. «Симон» написан в узнаваемой манере, отсылающей к традиции советской прозы 60—80-х годов. Замкнутый, семейный, по сути, деревенский мир армянского городка Берд, патриархальный колорит национальных устоев, на фоне не слишком явных безликих знаков советской жизни. Вполне традиционное письмо, но не вызывающее отторжения, скорее наоборот.

3. О времени коронавируса к сказанному можно, наверное, добавить вот еще что. На собственно словесность пандемия не особенно повлияла (да и не могла, кажется). Скорее уж повлияла на литературный процесс, в котором поубавилось светскости. Но это не помешало, например, яростным дискуссиям в социальных сетях по разным актуальным поводам. По поводу результатов «Большой книги» в частности. Показателен здесь сам характер полемики и уровень аргументации. Показателен не столько для времени пандемии, сколько для эпохи социальных сетей.

Ольга Брейнингер, прозаик, литературный критик (г. Москва)

Эрос и Танатос русской литературы в 2020 году

2020-й был щедр на плохие события и хорошие книги. И на хорошие литературные тенденции в целом. В премиальных списках уверенно перемежались имена современных классиков и представителей поколения тридцатилетних, авторы бестселлеров и маргинальные имена.

2020-й оказался щедр на очень хорошие романы, и «лучших книг года» у меня оказалось сразу две. Или даже три.

Первая — конечно же, «Земля» Михаила Елизарова. Роман, написанный не по правилам и вопреки всем правилам. Обрывающийся на кульминации, не утруждая себя ни развязкой, ни обещанием продолжения. Медленно тянущийся сквозь первые

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Евгений Абдуллаев

Просто такой постмодернизм

Опять — двадцать пять.

Может, конечно, коронавирус виноват. Хотя сколько можно всё на него валить?

Это не коронавирус, это мы сами «в бреду горячечном» убеждаем и сами себя, и читателей, и всех-всех-всех, что литература умерла, что серьезная поэзия (проза) никому не нужна, а критики у нас и вовсе нет.

Приглядишься и разберешься, и обнаруживается — за каждым таким радикальным высказыванием, как за саженным транспарантом, прячутся гораздо менее радикальные — и более понятные — мысли. Что нынешняя литература: поэзия, проза и критика — меня, имярека, не устраивают. Не такие они, как мне, имяреку, хотелось бы. Особенно, конечно, критика. Не замечает, не хвалит; или хвалит, но не так, как хотелось бы. Поэтому — умерла.

Или, скажем, более тонкий танатологический диагноз: литература жива, но в ней нет уже никакой иерархии. Не прежней — а вообще никакой.

В прошлом «Барометре» я уже упоминал об ответе Александра Скидана на опрос сайта «Textura» о «поэте десятилетия».

Какое-то одно имя Скидан назвать отказался, пояснив: «...Строгая иерархичность давно распалась вместе с нормативной поэтикой. В разных поэтических поколениях и разных социокультурных стратах одновременно работают (или работали еще совсем недавно) несколько выдающихся авторов, исповедующих совершенно разные поэтики»¹.

Соглашусь, выбор «поэта десятилетия» — вещь искусственная.

Но что касается строгой иерархичности, которая «давно распалась»...

А была ли она когда-то?

В советское время была официальная иерархия — из литераторов-лауреатов Сталинской, позже — Государственной премий. Рядом еще несколько иерархий, с ней совершенно не совпадавших. Как порой и друг с другом. Или Щипачёв и Мандельштам исповедовали одну и ту же поэтику? Недогонов и Сатуновский? Евушенко и Айги?

Но и в досоветской литературе никакой «строгой иерархичности» не наблюдалось. Тоже были разные иерархии. Была, скажем, Пушкинская премия, самая крупная, официальная, престижная, «иерархичная». Ни Брюсов, ни Блок, ни Белый, ни Сологуб, ни еще с десятков поэтов, по которым мы изучаем сегодня литературу начала прошлого века, не были ею награждены. Впрочем, и внутри самого русского модерна единой иерархии тогда не было. Так же, как и сегодня «в разных поэтических поколениях и разных социокультурных стратах одновременно» работали «несколько выдающихся авторов, исповедующих совершенно разные поэтики». Возьмем хотя бы символистов — и футуристов...

¹ Гуманитарные итоги 2010–2020. Поэт десятилетия. Ч. 2 // Сайт «Текстура». 3 октября 2020 г. (<http://textura.club/poet-desyatiletiya-ii/>).

Иерархии, единой и строгой, или даже нестрогой — в русской литературе, по крайней мере, с начала девятнадцатого века, не было никогда. Был непрерывный поиск иерархии, выстраивание иерархии, конкуренция различных иерархий.

Единая иерархия была и остается понятием, концептом, не имеющим в истории литературы какого-либо соответствия, но исключительно для нее важным. Вроде «идеального газа», которого, как известно, не существует, но который необходим для понимания свойств газов реальных. Если нет идеи единой иерархичности, *точно* такое вообще все упоминаемые далее Скиданом имена (Юрьев, Рымбу, Суслова...)? Почему именно они? С какой стати читатель должен верить — если «иерархичность давно распалась» — что это «выдающиеся авторы»?¹

Можно было бы, конечно, за всеми этими разговорами о крушении литературной иерархии (а ведутся они уже давно) увидеть попытку утвердить *свое* представление об иерархичности, *свою* иерархию. В случае Скидана — состоящую из авторов курируемой им серии «Новая поэзия» издательства «НЛО»...

Но не будем идти так далеко.

В конце концов, все упомянутые им персоналии, по крайней мере, относятся к сегменту серьезной (не массовой/развлекательной) и профессиональной (не самодеятельной) литературы. Какое место они в нем занимают — другой вопрос; тут как раз и возникают разночтения. И если бы дело касалось только конкуренции иерархий внутри этого сегмента, то не стоило бы и ломать копыя.

Но разговоры о том, что иерархичность распалась или что нет больше «никакой “литературы” как целого», а есть только отдельные книги (Е. Вежлян²), или что у нас, как совсем недавно написал Владимир Березин, «критика сдохла за ненадобностью»³ — имеют и внешний эффект. Эти разговоры, повторяясь на разные лады, становясь чуть ли не общим местом, — создают довольно жалкий образ современной литературы. Как такого дикого поля, свалки порушенных иерархий, где резвятся какие-то фрики.

А дальше — дальше все логично: свято место пусто не бывает. Раз у вас тут, ребята, никакой иерархии, никакой критики и вообще даже никакой литературы, то мы — к вам. Со своими иерархиями, своей критикой, своей литературой. И идут, уверенно и весело. А мы гостеприимно распахиваем двери.

Вот в «Российской газете» (от 3 ноября 2020 г.) публикуется большое интервью с Дмитрием Кравчуком, основателем и владельцем двух самых крупных сайтов, публикующих самодеятельных литераторов, «Стихи.Ру» и «Проза.Ру».

Замечательное начинается уже с подзаголовка: «Как порталы Стихи.ру и Проза.ру задают тренды в современной литературе».

Теперь понятно, кто у нас тренды формирует?

Они же — и иерархии.

«За двадцать лет нашими авторами стали более миллиона человек, это люди самого разного возраста и места жительства. У меня есть гипотеза, что такое количество пишущих людей в нашей стране было всегда, просто раньше их никто не публиковал, толстые журналы издавали несколько десятков знакомых им авторов».

Итак, с одной стороны — широкие массы, так сказать, самородки, а с другой — какая-то горстка авторов, пробившихся в толстые журналы. Где их, опять же,

¹ Я, впрочем, и не верю — за исключением Олега Юрьева, который действительно был незаурядным поэтом (хотя, читая его, вспоминаю иногда фразу Самойлова о поэтах, которые «берут кусок скуки и оттачивают его до совершенства»).

² Литературный 17-й: что запомнилось. Писатели и критики подводят итоги литературного года // Сайт «Colta». 27 декабря 2017 г. (<http://www.colta.ru/articles/literature/16994>).

³ Интересно, что тезис этот опубликован на сайте «Открытая критика» (http://rara-rara.ru/menu-texts/teplohod_sovremennosti). После чего сайту было логично сразу закрыться. Но, видно, «критика сдохла», а «открытая критика» как-то уцелела.

непонятно по каким соображениям, публикуют. Возможно, просто по знакомству: фразу про «знакомых им авторов» можно понять и так.

Нет, сам Кравчук — очень хороший менеджер и прекрасно понимает, кто есть кто. И к сотрудничеству старается привлекать именно профессиональных литераторов, и иерархический «вес» каждого имени очень даже учитывает.

«На портале Стихи.ру публиковали свои стихи и известные поэты, например, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Я как-то приезжал к Андрею Андреевичу на дачу в Переделкино и зачитывал рецензии на его стихи. Он сам уже мало пользовался компьютером, но ему было любопытно, что пишет в ответ поэтическое сообщество».

Это к вопросу о критике. Которая у нас, в профессиональной литературе, «сдохла», а на «Стихи.ру» вполне, как видите, цветет. Как голос «поэтического сообщества». Мнением которого и классики живо интересуются.

Хотя бы написали сбоку: «На правах рекламы». Нет, все серьезно.

Впрочем, с «Российской газеты» спрос небольшой, там современная литература — это то Сергей Лукьяненко, выступающий в роли гуру, то Николай Зинovieв — «наследник русского пути»... Но для чего это интервью с Кравчуком тут же следом размещает у себя вполне вменяемый сайт «Год литературы», понять затрудняюсь. Такой вот, видно, постмодернизм.

Наступает литература, производимая массами, — наступает и литература, производимая для масс. И снова мы расплываемся в добродушной гостеприимной улыбке.

Другое вполне уважаемое литературное интернет-издание, сайт «Текстура», где печатается серьезная критика, интересные опросы и прочая и прочая.

Материал под названием «Зазеркалье, или Сайты прямых продаж» (10 ноября 2020 г.). Заинтересовало — аналитики по книжному рынку, не считая обзоров Владимира Харитоновна на «Горьком», у нас маловато.

Открыл — и уткнулся, опять же, во вполне рекламный материал о двух коммерческих сайтах: «ПродаМане» и «Автор.Тудей».

О том, какая богатая и насыщенная на этих сайтах литературная жизнь. «...На ПродаМане всюду идет конкурсная движуха: литмобы и собственно конкурсы». Какие там авторы в фаворитах. «Я читаю серию Ирины Котовой “Королевская Кровь”. ...Огромный мир, множество героев, как следствие — множество сюжетных линий, и вовсе не все про любовь и секс».

Замечательно.

И на «Автор.Тудей» тоже своя жесткая иерархия — рейтинг авторов. Первое место в нем, как сообщается в материале, занимает Кирилл Клеванский, автор многотомной саги «Сердце дракона» и еще одной, менее многотомной, «Дело Чёрного Мага».

«Все “настоящие” литераторы могут изойти ядом, ругая тексты Кирилла Клеванского — пишет Евгения Лифантьева («Автор.Тудей»). — ...Но его романы люди не просто читают — за них платят. И весьма неплохо».

Обращаюсь к коллегам: вы исходите ядом? Читаете тексты Клеванского и ругаете их? Сомневаюсь, что вы о них даже слышали. Я, загуглив, несколько фрагментов прочел. Нет, ядом не исхожу. Вполне нормальный масслит.

Разумеется, непроницаемых границ между литературой массовой и немассовой нет. И верхний сегмент массовой литературы вполне может входить и в литературу немассовую («серьезную»). Так что в отношении некоторых авторов вообще сложно сказать, к какой из них их отнести. Рубина (где-то последних двадцати лет) — это масслит или все же нет? Гришковец? Глуховский? Полозкова?

То же самое можно сказать и о «Стихах.Ру», и «Прозе.Ру» — и на них можно встретить интересные, нелюбительские тексты.

Жестких границ нет. Но принципы, по которым работает массовая литература, — иные, чем те, по которым устроена немассовая. Иные требования к качеству, к стилю, ко всему. Иные иерархии.

Понимают ли это на «Текстуре»? Наверняка понимают. Так для чего помещать подобного рода продукцию, да еще с игривым подзаголовком: «Литература умерла — да здравствует литература!» Это вот эта, с «сердцами драконов» и «королевской кровью», да здравствует. А какая умерла — понятно. Сами же ее постоянно и хороним.

И тут даже удивляет то возмущение, которое вызвал осенью список Московской литературной премии Интернационального союза писателей (ИСП). Напомню, что известные литераторы (Крапивин, Водолазкин, Кучерская...) оказались в нем плечом к плечу с самодеятельными писателями — коих ИСП окучивает не хуже «Стихи.Ру».

А что возмущаться? Когда мы заявляем, что никакой единой литературы нет, что никакой иерархии нет, что вкус — это отжившее понятие, — это нормально. Когда публикуем деятелей масслита, которые, оказывается, тренды современной литературе задают, а над «серьезными» авторами лишь снисходительно иронизируют, — это тоже как бы в порядке вещей. А когда видим список, в котором эти самые «серьезные» авторы игриво перемешаны с самодеятельными, — отшатываемся, как от страшного сна. Логика?

Подхожу к завершению. Нет, призывать коллег-литераторов к большей интеллектуальной ответственности не буду. Не первый раз уже пишу на эту тему, знаю, бесполезно. Попробую обратиться к обычному читателю; такой все же где-то остался; иногда на каких-то встречах, книжных ярмарках и просто на улице (или в Сети) его вижу.

Так вот.

У нас сегодня замечательная серьезная литература — яркая, разнообразная, свежая. У нас очень хорошая и сильная критика. Прекрасные толстые журналы — которые печатают не только знакомых им авторов... Почитайте — убедитесь сами. Если же кто-то из литераторов станет говорить вам, что литература умерла, что серьезная поэзия (проза) никому не нужна, а критики у нас и вовсе нет...

Не верьте. Это просто такой постмодернизм.

Борис Минаев

Большой маленький Успенский

Поздней осенью 2019 года в Литературном музее (новое помещение на Зубовском) открылась выставка, посвященная Эдуарду Успенскому.

Несколько залов, много иллюстраций к его детским книгам, прекрасных фотографий, инсталляции и персонажи из мультфильмов, видеосюжеты, даже небольшая коллекция старых пишущих машинок, которую Эдуард Николаевич собирал. На открытие пришли друзья, много и хорошо о нем говорили. Я ходил по выставке и все время боялся признаться сам себе: мне здесь чего-то не хватает. Мне не хватает самого Эдика, Эдуарда Николаевича! Не хватает его неукротимого характера, его злости, его отчаяния, его дикого упрямства. Куда-то все делось...

Не хочу показаться неблагодарным брюзгой, выставка была сделана со вкусом и с любовью, но здесь настоящий живой Успенский оказался как бы в прозрачном загоне, в золоченой рамке — добрый детский писатель, уже при жизни классик, создатель великих советских мультфильмов.

Но каким же он был на самом деле?

Я приехал к Успенскому за несколько месяцев до его смерти. Повод был не очень важный, даже дежурный: поговорить про журнал «Пионер», с которым у него были довольно сложные отношения (интервью для одной книги). Но повод ладно, просто повидаться хотелось.

И вот мы приехали к нему — зима, лежал снег, в доме было полно народа — дети, помощники, его жена Лена — огромное количество книг, картин, фотографий, Успенский был нам очень рад, показывал дом, рассказывал про все на свете, мне подарил двухтомник переводов Заходера...

Мы выпивали, нас кормили салатом оливье, приготовленным на скорую руку, но очень вкусным.

Все было замечательно. Кроме одного: Эдуард Николаевич был уже болен. Он очень грустно выглядел после лучевой терапии, он страдал, и он (как теперь кажется) уже постоянно вглядывался куда-то туда, где все будет совсем по-другому, не так, как здесь...

Я запомнил это все: воздух зимней дачи, огромные окна, яркий свет, рюмки на столе, и его бледное, изменившееся лицо, и по-прежнему огненные глаза, когда он загорался и начинал говорить, и его страстную речь.

Вот это слово — «страстный», оно, конечно, к нему подходит самым лучшим образом. Главная эмоция, которую он передавал при жизни — страсть. Он страстно ненавидел, страстно любил, страстно мечтал, даже шутил и то страстно (и порой страстно не понимал шуток, когда пытались шутить над ним). Иногда эти разнообразные страсти его просто захлестывали. Но, конечно, это тоже было необходимо.

Фрагменты этого интервью я буду цитировать ниже, чтобы вновь почувствовать его интонацию и его голос.

...Так вот, на той выставке я встретил молодого режиссера Романа Супера, который собирался делать об Успенском большой документальный фильм. Прошел год, и фильм вышел. Называется он «Это Эдик», посмотреть, совершенно бесплатно, пока можно на платформе «Премьер». Будет ли на телеканалах, в кинотеатрах, честно говоря, не знаю. Сразу после его выхода началась компания за то, чтобы фильм этот запретить.

Если запретят — будет жаль.

В фильме есть кукла — и она говорит голосом Успенского (в фильме использованы фрагменты его многочисленных радио- и телеинтервью). Кому-то эта кукла показалась ужасной, нелепой, злой, отвратительной — на вкус и цвет товарищей нет.

Мне же она показалась не просто удачной. Возникло мистическое почти ощущение, что я вижу настоящего, живого Успенского. Или даже не так: ожившего Успенского. Успенского, который впрыгнул из темноты обратно в пространство света, к своим персонажам, к куклам из своих мультфильмов и сам стал одной из них. Это было невероятно.

Недоверчиво вглядываешься в экран — Эдуард Николаевич, это вы?

Нет, не может быть...

Поэтому фильм «Это Эдик» Романа Супера и Ивана Проскурякова я не могу судить по каким-то «законам жанра». Биография? Нет. Расследование? Нет. Портрет? Тоже нет. Хотя и то, и другое, и третье.

Такое чувство испытываешь, возможно, в театре, когда тебя охватывает бессознательный, ничем не объяснимый восторг — от самого пространства, освещенной коробочки, от той силы, которая передается тебе со сцены, от актеров. Да, наверное, тут волшебным образом *кино.doc* превратилось в *театр.doc* — более того, в кукольный, условный театр. В театр одной судьбы, одного человека.

...Судьба Успенского — это, конечно, судьба всей послевоенной интеллигенции, судьба всех шестидесятников, судьба всей страны. И в этом сила фильма. Бедные, голодные студенты 50-х с их капустниками, бесконечным весельем (война-то кончилась и можно просто жить!), инженеры на военных заводах и бесконечных стройках, некоторые из них быстро переквалифицировались в актеров, режиссеров, писателей, юмористов, бардов (а другие стали их благодарной аудиторией), прогремевшие, просиявшие своей ранней славой в 60-е, создавшие тот тип культуры, который и ныне, через 60 (!) лет востребован и абсолютно самодостаточен, и с которым молодые творцы как ни тужатся, — ничего не могут поделать, люди, бодавшиеся с советской властью, — уехавшие из страны, ушедшие в подполье, затравленные, но не убитые, поднявшие знамя духовного сопротивления, дождавшиеся 90-х с их внезапно обрушившейся свободой и властью денег, — все это есть в жизни Успенского.

Сила фильма в том, что мы говорим о человеке, который только что был здесь, рядом с нами, осознавая весь его масштаб. Что мы не просто сквозь зубы признаем этот масштаб, но и пытаемся его измерить, что ли. В своем первом эмоциональном отклике на фильм я написал, что Успенский упирается головой в небо, при том что внутренне он совершенно раздерган и противоречив, да, это так. Виктор Чижиков, великий иллюстратор и художник, ушедший от нас совсем недавно, говорит о том, что герои сказок Успенского абсолютно равновелики сказочным архетипам русской национальной сказки, прямо им наследуют — удивительное сопоставление для ерника, насмешника Успенского. Григорий Остер говорит о том, что все произведения, все эти «смешные истории» Успенского содержали в себе эликсир свободы, что именно свобода, в самом высоком и философском ее значении была главной

субстанцией их. И это тоже правда. Лев Гушин, друг Успенского, главный редактор «Огонька» в 90-е годы, говорит о том, что советских детских писателей-классиков: Маршака, Михалкова, Барто, Чуковского, — всех их машина советской пропаганды расставила по местам, каждому выдала «социальный заказ», выдала свою бирку, свою роль, постепенно выученную назубок, а вот с Успенским справиться не сумела — он сломал эти иерархии, на нем эта машина сломалась.

Прекрасная пьеса получается! Вот Успенский ушел к своим персонажам, в этот волшебный мир кукольного театра — и сидит, болтает ножками, слушает рассказы о себе, слушает своих друзей, реагирует, хмыкает, смеется, ворчит.

Однако в пьесе нужен конфликт, сюжет. Начинается разговор о тяжелых вещах в его жизни — деньги, тяжбы, разводы, тяжелые отношения с дочерью. Трагическая, раздерганная внутри личность. Снижает ли это для меня его масштаб? Ничуть. Большой писатель всегда несет в себе какую-то трагедию. Но в отличие от других больших писателей — Успенский был экстравертом, он все выплескивал наружу, все проговаривал. И все его неурядицы с миром, все его драмы стали общим достоянием. Что было, конечно, вдвойне тяжело.

А вот фрагмент нашего последнего разговора.

«Я почему-то всегда чувствовал себя виноватым перед своими друзьями, ощущал какую-то вину. Меня печатают, а Ковалю не печатают. Вот я все время это ощущал. А был у меня мой старый друг, инженер, перед ним, например, я чувствовал свою вину, что у меня есть квартира, я ее на гонорары построил. А он в коммуналке живет, мой друг... Я просто как только начал получать гонорары, за книжки, за публикации, за сценарии, стал их на сберкнижку переводить. И за два года сумел купить квартиру. Вообще у меня была такая черта — я очень быстро вычеркивал друзей. Ну, например, Сережа Иванов вступил в партию, я перестал с ним на некоторое время общаться».

...Еще в этом разговоре Успенский сказал, что заболел из-за того, что его сожгло изнутри это чувство вины. Другими словами сказал, но мысль была такая.

Еще раз оговорю: разбирать этот спектакль.doc об Успенском мне тяжело — слишком остро я ощутил в нем его живого. Но есть вещи, не сказать о которых невозможно.

Фильм делали в основном люди, которым еще и сорока не исполнилось. По возрасту — мои дети. К сожалению или к счастью — Советский Союз они представляют себе довольно поверхностно. И в худших, и в лучших его проявлениях. Для них это размазанная, плывущая в тумане картинка, а из тумана выступают какие-то самые общие параметры. Но иначе, наверное, и быть не может. Чтобы Советский Союз знать, надо было в нем жить и вырасти. Жаль, правда, что туман этот почему-то у них довольно часто оказывается розовым.

В таком вот розовом тумане представлял себе Эдуарда Николаевича Успенского автор фильма Роман Супер, когда взялся делать о нем эту сагу. «Автор нашего детства». Великий сказочник. Создатель всех главных фильмов советской мультипликации. Волшебник с мудрыми глазами.

Когда Роман увидел, верней, услышал от других — что «волшебник советского детства» был фигурой сложной, что были в его жизни тяжелые моменты, что, как и любой большой художник, он нес в себе бремя вины и трагедии, — он страшно удивился: как же так? То есть тот самый советский стереотип (о котором говорит в фильме Лев Гушин), что детский писатель должен, обязан быть лучезарным, насквозь добрым, на вкус и цвет нежным, целиком положительным, он, оказывается, никуда не делся. Он до сих пор живет. Детский писатель, оказывается, не может пить и разводиться. Не может страдать и заставлять страдать других. А если может — то все, мир рухнул.

Эта святая наивность, конечно, несколько размыла прочность всей конструкции... Но все же не до конца. Благодаря самому Успенскому, благодаря его мистическому присутствию в фильме, она выстояла. Другое дело, что Эдуард Николаевич наверняка не раз поперхнулся, когда смотрел этот фильм — оттуда, из своего кукольного рая.

Начать с того, что Ханну Мякеля, который торжественно объявляется «единственным на планете Земля» биографом Успенского — на самом деле, совсем не единственный. Детский поэт Андрей Усачев, один из рассказчиков, справедливо указал создателям фильма, что биография Успенского есть — ее в свое время написала Ольга Ковалевская («Неизвестный Успенский»).

Это ошибка. Ошибки и даже, я бы сказал, некоторые зияющие пустоты в фильме так или иначе присутствуют (наверное, их и не могло не быть, но все же в библиотеку сходить и поинтересоваться книжками об Успенском было можно). Ошибка, или неточность — в том, что якобы Алексей Аджубей, редактор «Известий» и зять Хрущёва, помог выйти первой книжке про крокодила Гену — нет, книжка вышла в 1970-м, а Хрущёв был отправлен в отставку в 1964-м, то есть его рекомендация книжке могла только помешать. Ошибка в том, что мнение Ханну Мякиля: Успенский был при советской власти страшно беден — это все-таки мнение иностранца, плохо знающего наши реалии. Конечно, Успенский много зарабатывал, как и любой человек, писавший для кино, для телевидения, — и его доходы были совершенно несопоставимы с доходами большинства советских граждан. Но главная ошибка — это, конечно, объяснение творческой трагедии Успенского как раз деньгами, которые на него «свалились» в 90-е годы, «испортили» и «загубили».

Успенский много писал в 90-е и создавал новых героев. Дело совершенно в другом.

Нельзя сводить всю последнюю (и довольно драматическую) часть его жизни ни к искушению большими деньгами, ни к тяжбе с «Союзмультфильмом», ни к судебным процессам, ни к скандальному разводу, ни к тяжелой болезни.

Свобода, в целом, оказалась тяжелой штукой. И вместе со всей страной, со всей интеллигенцией Успенский в полной мере это пережил. Основная, на мой взгляд, ошибка авторов в том, что Успенский в фильме понимается как создатель «образов советского детства», между тем как на самом деле, в своей жизни — он советскую власть и советскую детскую литературу ненавидел, с ней и с ее представителями, насколько мог, боролся, был ею ненавидим в ответ в той же мере, претерпел от нее немало, и по сути подвергся запрету на профессию (хотя для кино продолжал работать по какой-то прихоти этой самой большой идеологической машины) — вот обо всем этом в фильме сказано как-то глухо, неясно, неотчетливо, хотя это и есть главное для понимания его трагедии.

Когда советская власть кончилась, Успенскому не над чем стало шутить. Исчез монстр, над которым он издевался, открыто или намеками, с которым боролся, которого он подтачивал изнутри. Монстр умер — и исчез вместе с ним сам смысл существования Эдика, его творчества.

А боролся Успенский с властью не только своими произведениями, за свою жизнь он написал сотни и сотни писем в разные инстанции, разоблачая своих врагов, советских чиновников от идеологии и литературы. Коллекция этих писем — важнейшая часть его творчества, и жаль, что в фильме о ней никто ничего не сказал. Началась эта борьба в конце 70-х, когда по какому-то доносу, в духе самых злобных сталинских компаний, Госкомпечати РСФСР запретил издавать книги Успенского, Остера, Ковалы. Все они попали в стоп-лист «Детгиза», «Малыша» и других детских издательств. Именно в этот момент Успенский начал свой бесконечный холивар — письма в ЦК КПСС, в Министерство культуры, в горком партии. Письма эти были не просто непочтительны. Они были издевательские, наглые, они содержали в себе массу

неприятных для советских чиновников фактов о нарушениях законности. Адресаты и фигуранты этих писем Успенского ненавидели — и боялись.

Об этом страхе говорит в фильме Лев Гушин, но, к сожалению, создатели фильма не спросили его, а почему боялись, за что ненавидели, против кого и против чего он боролся, как они пытались его запрещать и уничтожать, — в итоге тема оказалась брошена, и понятно почему: в образ творца «образов советского детства» она явно не вписывалась.

Объяснить трагедию Успенского легче оказалось «большими деньгами» и погоней за ними.

Гнался ли он за деньгами? Предки его, как я узнал, кстати, из фильма «Это Эдик», происходят из маленьких русских городов: Ельца, Вышнего Волочка. Города-то были купеческие, богатые. Какой-то старорусский, купеческий инстинкт в Успенском точно жил. Деньги он считать умел.

Но и тут создатели фильма пошли за слишком легкой добычей. Юлиана Слащева, бывший директор «Союзмультфильма», одна из главных врагов Успенского в последние годы его жизни, осторожно говорит в фильме о том, что он своими тяжбами «разбудил рынок» авторского права в России, но он его не просто разбудил — он его, по сути, создал. Бесконтрольное, хамское, пиратское использование чужой интеллектуальной собственности — в торговых брендах, логотипах, в музыкальном оформлении, во всем вале культурной продукции — закончилось во многом благодаря судебным тяжбам Успенского с производителями самых разных товарных знаков. Это было важно для страны, беру на себя смелость утверждать. И те ребята, которые делали фильм «Это Эдик», сейчас так же пользуются правилами цивилизованного рынка и зарабатывают деньги, в том числе благодаря Успенскому. Жаль, что об этом никто не сказал в фильме (а авторы не спросили), как и о многом другом.

Но... жизнь ведь невозможно уместить в ту или иную формулу. Она из нее всегда выламывается. Вот старшая дочь Таня, та самая, которую отец отдал в «детский лагерь» к целителю Столбуну, и она из него в ужасе бежала, произносит в фильме замечательную, казалось бы, фразу: «Это был невоспитанный, капризный четырех-пятiletний ребенок в теле взрослого человека». Может быть и так. Но пропущено тут одно лишь важное слово — гениальный ребенок. И все сразу меняется.

Цена гениальности — это всегда вопрос очень тонкий. Что важнее — сохранить свою внутреннюю гармонию или создать то, что рвется из твоей души? Порой и то, и другое одновременно — невозможно, нереально, нельзя. И приходится делать выбор.

И никакие психоаналитические («его в детстве не любила мама»), социальные (кончился «розовый туман» советского детства и наступила жестокая реальность 90-х), удобные и спасительные версии — тут не помогут.

Этот вопрос не решаем в принципе, и никакая «новая этика» его тоже не решит. Гении нужны. Гении нам необходимы.

Без гениев смысл природы был бы непонятен. Реальность без них невозможно структурировать. А загадки жизни — объяснить.

Поэтому страстная «детскость» Успенского, которая в фильме все равно остается главной доминантой, вызывает в конце чувство, сродни театральному. Bravo, Эдуард Николаевич. Я плачу и смеюсь над вашей прекрасной и трагической судьбой. Я благодарен за это ваше последнее произведение.

Занавес.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«**Русский путь**» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**3/2021****Читайте:**

**Нелли Абдуллина.
Роман «Сын обетования»:**

«В одну из ночей, когда избитая Гюльназ тихонько стонала в бане, оmyвая свои раны, а Фаррах благостно храпел на перине в избе, Ибрагим вошел на отцовскую половину. Занес нож над его спящим грузным телом, ненавистным телом ставшего чужим человека. Такое счастье от близкой расправы нахлынуло тогда на него! Миг, когда он еще не знает, что испугается себя, бросит кинжал и покинет дом, в памяти длился много дольше, чем в жизни. Жуткий, полный наслаждения миг. Кем он был тогда — дышащий злобой, как похоть? Не отступник, даже не зверь. И ведь он перестал быть собой не в тот миг до убийства, а раньше — в звездную ночь своего совершеннолетия. Нескоро Ибрагим погрузился в темное беспамятство. Его мысли долго бродили по исхоженным тропам памяти, пока кто-то не стал ровно насвистывать ему на ухо: тебя нет, греха нет, Бога нет, ничего нет, тсс-тсс-тсс. Его разбудил разговор приятелей...»

**Пётр Ротман.
Повесть «Истинное сияние чистого ума»:**

«И тут Будда заговорил. Голос у него был тот, знакомый, только на этот раз без всякого акцента: “Ты просто хотел сделать свою жизнь занятнее, раскрасить ее, обострить восприятие, — в речи не было и намека на утешение. — Мы здесь тысячи лет. С одной единственной целью. А вы? А? — грозно спросил и грянул, заканчивая затянувшийся разговор: — ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ПОЛНОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ, — ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ИСТИННОГО СИЯНИЯ ЧИСТОГО УМА!” “Но...” , — прохрипел Игорь; но Будда больше не смотрел в его сторону. Он уже всё сказал...»

